



# ИРИНА МУРАВЬЁВА

У Ирины Муравьёвой редкое сочетание психологической тонкости, изобразительной точности и свежести нравственного чувства. А всё вместе — завораживающая и пронзительная проза.

*Михаил Эпштейн*

ТЫ МОЙ  
НЕНАГЛЯДНЫЙ!

Ирина Муравьева

**Ты мой ненаглядный! (сборник)**

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Муравьева И. Л.**

Ты мой ненаглядный! (сборник) / И. Л. Муравьева — «Эксмо»,  
2015

Ирина Муравьева живет в Бостоне с 1985 года. Но источником ее творчества является российская действительность. Впечатляющие воспоминательные сцены в ее прозе оказываются порой более живыми, чем наши непосредственные наблюдения над действительностью. Так и в рассказах – старых и новых – сборника «Ты мой ненаглядный!», объединенных темой семьи, жасмин пахнет слаще, чем тот, ветки которого быются в ваше окно.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Муравьева И. Л., 2015  
© Эксмо, 2015

## Содержание

Рассказы	6
Ты мой ненаглядный	6
Дед	18
Как мой дед взял Зимний	20
Бывшие	24
Напряжение счастья	30
Зима разлуки нашей	35
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# **Ирина Муравьева**

## **Ты мой ненаглядный! (сборник)**

© Муравьева И., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

## Рассказы

### Ты мой ненаглядный

Лазарю исполнилось одиннадцать лет, а Зиги – девятнадцать, и пока был жив отец, никто даже и не обсуждал, где красавец и умница Зиги выучится на адвоката. Разумеется, в Вене, а не в их провинции. И деньги на то, чтобы старший сын стал адвокатом, можно было выкроить: отец, после того как мыловаренный завод за долги перешел от него к кузену Иосифу, остался там управляющим. Долгов уже не было, меньше ответственности.

Умер он почти внезапно. Вечером поднялась температура, в груди заклокотало и засвистело, пришел доктор Унгар, покачал головой, прописал таблетки, сироп от кашля, спиртовые компрессы, лимонное, с медом, питье и сказал, что наведается завтра. Завтра больному будет лучше. Мама сидела у отцовской постели, маленькой рукой гладила его пылающий сухой лоб. К полуночи отец начал бредить, сорвал одеяло, пытался встать, кричал, что его ждут в Венской опере, но вскоре затих, губы его вдруг стали ярко-лиловыми. Мама разбудила Зиги, он выскочил из бывшей детской, где спал теперь один – Лазаря перевели в маленькую боковую комнату, – набросил поверх пижамы пальто и побежал к доктору Унгару, который жил на соседней улице. Доктор Унгар пришел очень скоро, но уже не застал отца в живых. Мама раскачивалась из стороны в сторону, как стрелка в их черных настенных часах. А маленький голубоглазый Лазарь, не понимая, что отца больше нет, смотрел на него не отрываясь и ждал, что отец вот-вот зашевелится под одеялом.

Через два месяца после отцовской смерти мама настояла на том, чтобы Зиги, у которого закончились летние каникулы, вернулся учиться в Вену. Зиги уехал, а Лазарь с мамой остались. Денег было очень мало, и мама продала все свои украшения. Весной у нее появился ухажер – красивый, со смуглым точеным лицом, вдовец по имени Наум Айнгорн, человек очень нервный, вспыльчивый, но добрый, хотя непрактичный, неловкий и мнительный. У Наума Айнгорна своих детей не было, и, когда мама вышла за него замуж, он решил, что теперь будет относиться к осиротевшему Лазарю как к родному сыну. Но не получилось. Мама, прежде такая веселая и беззаботная, выйдя замуж на Наума, стала осторожной, присматривалась к своему быстро взрослеющему сыну, боясь, чтобы его не обидел новый муж и чтобы быстро взрослеющий сын не сделал чего-то такого, от чего новый муж начнет раздражаться и хлопать дверями. Потом родилась в доме девочка Лия, и вроде бы все успокоилось. Жили они тогда уже не под австрияками, а под румынами, но говорили по-прежнему по-немецки, и гимназия, в которую ходил кудрявый голубоглазый Лазарь, считалась, как раньше, «австрийской». В тридцать седьмом Зиги вернулся из Вены. Он стал подающим надежды адвокатом, снял себе прекрасную квартиру, запонки на его манжетах блестели ярче, чем зрочки невесты из-под свадебного покрывала, и каждый вечер гибкий, тонкий, с причесанными на косой пробор волосами молодой адвокат пропадал либо в театре, либо в гостях у таких же, как он, адвокатов или докторов медицины. На одной из вечеринок он встретил Грету и бешено сразу влюбился. Грета немного косила, и это придавало ее белому, блее, чем сливки, лицу особую прелесть. Даже когда Зиги, вставши на одно колено, делал ей предложение, она, полураскрыв нежные губы, смотрела не прямо ему в глаза, а словно бы в сторону, и Зиги от этого так волновался, что слова «люблю» даже не произнес.

Наум постоянно жаловался ему на строптивого Лазаря, и Зиги часто наведывался в гимназию, где обсуждал с учителями поведение брата, за которого чувствовал большую ответственность. Потом прибегал на футбольное поле, где Лазарь обычно стоял на воротах, и драл

его за уши. Уши горели. В доме Наума постоянно не хватало денег: он был реставратором старинной мебели, и, если бы не его мнительность и постоянное раздражение на заказчиков, вполне можно было бы жить хорошо, но он не умел. Из города Сталино, бывшей Юзовки, двоюродный брат его Михель, помощник дантиста, писал ему письма, в которых рассказывал, какая судьба бы была у Наума и всей их прекрасной семьи, решились они только сюда перебраться – в советский огромный промышленный центр, где все для людей и всего всем хватает.

– Я в СССР не поеду, – сказал гибкий, тонкий, заносчивый Зиги. – И Грета моя не поедет.

Никто никуда ехать не собирался. Рано утром поднималось солнце над их старым городом, в котором пахло тем, чем пахнет здоровая жизнь: плодами из сада, землею и сеном, и даже лошади трясли гривами от радости, даже приговоренные к смерти быки на скотобойне вдруг начинали надеяться, что их не убьют ни сегодня, ни завтра.

В марте тридцать девятого Зиги купил автомобиль «Фольксваген». Соседи прилипали к окнам, когда белокожая Грета садилась за руль. «Малыш» с крутым лбом, золотистый «Фольксваген», вдруг трогался с места и мчался, как ветер, а синее небо слегка отражалось в его ярких стеклах. Не прошло и года, как румыны передали их город Советам. И все до единого – куры, коровы, и люди, и дети – все стали советскими. Лазарь как раз заканчивал гимназию, ему исполнилось восемнадцать. Грета ждала ребенка, и беременность делала ее еще белее и прозрачнее, как будто она наливалась росой. У Лазаря появилась девушка, которую звали Сусанной, но Лазарь и все обращались к ней: «Сюся». Сусанна за пару месяцев освоила русский язык и наизусть читала Лазарю Сергея Есенина: «Холобая кофта, синие глаза, никакой я прафты милой не сказал...» Лазарь почти ничего не понимал, но на Сюсю смотрел с застенчивой жадностью. В апреле начались аресты. Забрали доктора Унгара, и соседка, страдающая бессонницей, увидела через окно, как остановилась черная машина, из которой вылезли двое, потом, уже у самого подъезда, к ним подошел дворник с какой-то женщиной, и тут же один из тех, которые приехали на машине, позвонил в дверь. Открыла прислуга, растрепанная, в белом ночном платье, ее грубо отпихнули, и все четверо скрылись в темноте прихожей. Соседка погасила лампу и продолжала смотреть. Через полчаса вывели под руки доктора Унгара, который испуганно озирался, и шляпа ездил по его голове то в одну, то в другую сторону, как будто вся кожа большой его лысины была очень скользкой.

Через неделю пришли к Зиги. Старинные венские часы пробили три. Грета, которая должна была скоро родить, только что заснула: она засыпала под утро, боялась. Услышав резкий звонок в дверь, Грета подбежала к окну и распахнула его, как будто желая выпрыгнуть с шестого этажа на мощенную булыжником улицу. Зиги обхватил ее обеими руками и начал оттащить. В дверь все звонили. Тогда он открыл, прижимая к себе, – кричащую, в белой широкой рубашке, с большим животом, – молодую жену. Его увели. Грета, выскользнув тенью, дрожа, завела золотистый «Фольксваген», но долго сидела внутри неподвижно, как будто забыла вдруг адрес родителей. Через неделю сосед шепнул маме, что видели Зиги в окошке теплушки, в которой куда-то везли арестованных. Но этот сосед мог легко перепутать: таких же, как Зиги, – с проборами – юношей в теплушках тогда увозили десятками.

Лазарю стало боязно разговаривать даже с Сюсей, хотя они были близки с ней и уходили далеко в горы, где Сюся его целовала так крепко, что на нежной шее Лазаря, и без того раздраженной бритвой, оставались огненные следы. В мае у Греты родилась мертвая девочка. Сюся объясняла Лазарю, что если Зиги ни в чем не виноват, то он очень скоро вернется, но жить так роскошно, как жили они, и ездить на этом их автомобиле в то время, как люди вокруг голодают, само по себе преступление. И Лазарь не спорил, хотя точно знал, что люди в их городе не голодают. Над своей кроватью Сюся повесила портрет товарища Сталина и часто смотрела на этот портрет, мечтая поехать в Москву и кататься в метро, пока не надоест. Любовь их,

однако, росла и кипела, она была больше всего остального, важнее всего, что бывает на свете. В предгорьях Карпат каждый день попадались под ноги босых пастухов отпечатки их тел на зеленой и пышной траве. Потом шли дожди, и трава распрямлялась.

Война началась на рассвете, и к тридцатому июня все, что было советского, ушло, убежало, распалось. Город оккупировали те же самые румыны, которые год назад отдали его товарищу Сталину. Начался такой хаос, что Лазарь совсем растерялся. Он был белокурым, задумчивым юношей, хотя и поднимал штангу такой тяжести, что, когда она, взлетев над его головой, застывала, на потном лбу Лазаря вдруг проступали лиловые жилы. Теперь оказалось, что жизнь – это что-то, похожее тяжестью на его штангу. Победители-румыны пьянствовали и грабили дома тех, которых, как Зиги и доктора Унгара, давно увезли неизвестно куда. Боялись, что скоро исчезнут продукты. Боялись прихода немецких частей. Боялись арестов, боялись расстрелов.

Сюся, полная решимости, сказала своему молодому другу, что ждать больше нечего. Пора уходить, пробираться к своим. Лазарь не понимал, где свои, где чужие, его тошнило от страха, но не за себя одного, а за всех: вокруг убегали, прощались и плакали. Никто – ни один человек – в это время не знал, что с ним будет.

Ночью они ушли. Сюся сколотила небольшую группу: с ними уходил друг Лазаря Эрих, веселый, застенчивый и узкоплечий, прекрасный скрипач, со своей сестрой Бертой и мужем ее пианистом Ароном. А ночь была жаркой, томительно-нежной, и горы Карпатские смутно белели своими высокими чистыми травами, которые даже от запаха крови и то сразу сохли. Мама долго целовала его, и последнее, что запомнил Лазарь, были ее слезы, которые лились по его лицу и шее, затекали за воротник, их было так много, что вся его майка и даже резинка трусов стали мокрыми. Наум, дрожа всем телом, притиснул Лазаря к себе и начал что-то бормотать, просить прощения, что не сумел стать ему ближе отца, но Лазарь его крепко обнял и тихо сказал ему: «папа». А Лия, сестра, темноглазая девочка, с круглой головой, на которой во все стороны росли немыслимой густоты, черные, с синим отливом, запутанные волосы, не плакала, только смотрела, кусая свои очень пухлые губы.

Они уходили пешком, в темноту, не зная, не подозревая, что это судьба их ведет по шоссе, где румыны, по-прежнему пьяные и бесшабашные, еще не успели расставить посты.

В Виннице, до которой они добрались за четыре дня, их долго допрашивали. Город должны были вот-вот сдать, люди разбежались, но вскоре возвращались обратно, поскольку бежать было некуда. Прокуренный начальник военкомата впился красными глазами в лицо Лазаря.

– Почему он по-русски не понимает? – спросил он у Сюси. – Ведь вы же советские люди?

– Но он не успел еще, – с тревогой ответила Сюся. – Ведь мы же недавно – советские люди.

– Но ты-то вот, видишь, успела, – заметил начальник и вдруг перевел на нее красный взгляд.

И Сюся, всегда возбужденная, яркая, наполненная своей первой любовью, вся сжалась от этого красного взгляда.

– Останешься здесь, будешь переводить, – сказал он. – А этих всех, порознь.

Пришла немолодая женщина в погонах и короткой юбке, открывавшей ее набухшие, как разваренная капуста, колени, и увела с собой Сюсю.

Никто из них больше не видел друг друга.

Когда начальник военкомата, изголодавшийся по женскому существу, велел привести Сюсю к себе на квартиру, он не собирался ее убивать. Он просто хотел ее сильного тела. И ждал ее: в белой несвежей рубашке, расстегнутой так, что видна была грудь, заросшая старой, седой, редкой шерстью.



– Садись, – сказал он. – Будешь пить?

Достал два стакана, налил из бутылки. У Сюси глаза стали черными ямами.

– Но-но! Без истерик, – сказал он. – На, пей.

Она замахала руками:

– Не буду.

– Как хочешь, – сказал он и выпил.

Потом оглядел ее всю. Как лошадка стояла она перед ним: мускулистая, с крутыми боками и выпуклой грудью, с кудрявой, лохматой, как грива, косой.

– Давай, только живо, – сказал он. – Раз-два. Законы военного времени.

И сразу толкнул на кровать. Сюся вывернулась и ребром ладони изо всей силы ударила его по лицу. Он отшатнулся от неожиданности, и она, не давая ему опомниться, вонзила растоптанный грубый каблук с железной набойкой в живот командиру. Тогда он ее застрелил. Будешь знать.

Тою же ночью Лазаря, не подозревающего, что Сюся уже часа два как зарыта в нагретую летнюю землю, записали рядовым в одну из отступавших военных частей. Он всех потерял. И его потеряли. Жизнь стала войной, а война стала жизнью. Ему говорили: «стреляй». Он стрелял. Кричали: «в атаку!» И он шел в атаку. При этом внутри него не было ни одного ясного чувства, ни одной связной мысли. Пару месяцев назад он горячо любил маму, Сюсю и плакал от страха за Зиги. Теперь он и не сомневался, что мамы и всей их семьи давно нет, а думать о Сюсе ему стало страшно. Он был еще сильным, но очень худым, курил, ненавидел спиртное. Солдаты учили его бранным русским словам.

Прошел почти год. За все это время у него ни разу не было женщины, но несколько ночей подряд снилась какая-то незнакомая девушка, ничем не напоминавшая Сюсю, с грустными глазами. Он гладил ее лицо, целовал эти глаза и чувствовал, как ее нежные веки дрожат, словно крылышки пойманной бабочки. Хотелось бы встретиться с ней, но и девушки не существовало.

– Ты – милая, милая, – шептал он по-русски и сглатывал ком не то своих слез, не то крови. – Ты самая милая.

Он был очень голоден. Сильно, все время. Однажды, в окопе, он вспомнил инжир, которым его угостил отец Греты. Инжир был морщинистым и маслянистым.

– Он так хорошо помогает от кашля, – сказала тогда мама Греты. – Ты любишь инжир с молоком, милый Лазарь?

В конце сорок второго года из Кремля поступило распоряжение: снять с фронта бывших румынских граждан и отправить их за Урал в трудовую армию.

\* \* \*

Ему повезло. Небеса так решили: чтобы он еще жил, жил и жил. Еще был нетронутый свиток событий, ночей, дней, ночей и заново дней, которые ждали его. Еще была я. Мне досталось держать его руку в последнюю ночь.

\* \* \*

Лазарю повезло, потому что его отправили не в лагерь, а на поселение в деревню Чалки. До Чалок от станции, на которой остановился товарный состав, всю ночь шли пешком. Высоко над головами громоздились серые облака, луна, перед тем как растаять, взглянула на них равнодушно, вздохнула: «Помрете вы все».

А он вот не помер. Бои начинались, едва рассветало. Они наступали на лес так, как прежде на них наступали враги в серых касках. Они воевали с деревьями. Высокие, в колючем серебре, сосны знали, что их ждет. Черные существа копошились внизу и были похожи на

насекомых. По двое они подходили к сосне, топтались вокруг и потом, хрипло крикнув и сплюнув на снег чем-то желтым и горьким, похожим слегка на смолу, принимались пилить. Дерево умирало медленно. Охватывающая его боль поднималась от корней, сведенных судорогой, до самых вершин. Вершины, тускло освещенные еще не разгоревшимся по раннему часу солнцем, начинали тревожно шуметь, пытаясь привлечь к своей смерти внимание, проститься навеки, и тут же в ответ им шумели другие, такие же, ждущие смерти, вершины. Бои шли до самого позднего вечера. Голодные и озлобленные люди продвигались все глубже и глубже в заснеженную тьму чужого мира, безжалостно убивая его коренных жителей, которые, став мертвецами, обрубками, лишившись ветвей, с тонким, жалобным скрипом, давали связать себя и очень сильно, отчаянно долго еще сохраняли сосновый свой запах.

Лазарь был молодым и выносливым. Если бы не постоянное чувство голода, он, может быть, оледенел бы всем сердцем, забыл обо всем, обо всех. Но голод его будоражил. От голода он становился живучим. От голода он не мог спать. Изба, куда его с первого дня подселили к старухе Анисье, из раскулаченных, давно схоронившей детей, мужа, внуков, высокой, с ресницами, снега белее, с морщинами, глубже следов от полозьев, была вросшим в землю, трухлявым строением. Он ел свой паек за синей ситцевой занавеской, нарядно отгородившей топчан, на котором он спал, от печи. Анисья, прямая, в платке до ресниц, толкла в медной ступке сухую крапиву. Ее добавляли в муку. Съеденный за один присест кусок серого, всегда слегка влажного хлеба усиливал голод. Он даже не чувствовал вкуса того, что быстро прожевывал, сразу же сглатывал. Анисья ему говорила:

– Попей. Вода холодит и тоску разгоняет.

Он слушался, пил. Анисья могла бы его ненавидеть: ее сыновья давно сгнили в земле, а он, – непонятно, чей сын, – был жив и дышал. Но в ней была жалость, хотя и негромкая: на все нужны силы. Посреди ночи он просыпался от голода, Анисья храпела во сне. Тогда он вставал, выходил, стуча зубами, в ледяной чулан, где висели связки лука и несколько связок грибов. Если бы мама или Зиги – в скользящем, сиреновом, шелковом галстуке – его сейчас видели! Он воровал лук, осторожно отколупливал сморщенные чешуйки и быстро жевал их, потом сосал кислый коричневый гриб и, чувствуя, что уже хочется спать, ложился опять на топчан. Во сне к нему шли Сюся с Гретой, и Лия, и отчим, и мама, и Эрих с Ароном, но их относил порывами ветра.

– Жанился б ты, Леша, – сказала Анисья. – Мушшина тут есть. Из Москвы. Их эвакуировали от фашистов. Яврей, как и ты. С дочерами. Кудлатые! Они тебя, может, подкормят.

По пятницам Лазарь ходил в комендатуру за двенадцать километров в областной центр Юзгино и там отмечался.

– Ишшо не сбежал? – добродушно спрашивал его одноногий комендант с прокуренными, желтыми, жесткими, как старые иглы у сосен, усами. – Ну-ну. Далеко не сбежишь...

Эвакуированные жили в бараках на берегу Тути, речонки широкой, но мелкой, безрыбной.

– Дак как я пойду? – с немецким акцентом, но так же тягуче, как здесь говорили, спросил он однажды. – Зачем я им нужен?

– Старухи сказали: «жанить надо Лешу. А то он помрот у тебя. Пушшай лучше к этим явреям идот. Поскоку у них пишша есть».

– Откуда у них сейчас пишша? – спросил он.

– Дак умный мушшина, яврей. Пошел счетоводом в колхоз. Ему лошадь дали. А там, может даже, корову дадут. В бараке живет, а особо от всех. Хороший барак, самый лучший. И с хлевом.

На рассвете в пятницу Лазарь долго мыл ледяной водой из кадки отросшие за зиму русые кудри.

– Ишшо не сбежал? А? – сказал одноногий. – Ну-ну, далеко не сбежишь...

К двери барака вела протоптанная в глубоком, твердом снегу дорожка. На самом пороге – ободранный веник: смахнуть с себя снег, чтобы не наследить. Ему стало стыдно за то, что он голоден, но он пересилил свой стыд, постучался.

– Входите, открыто, – сказал хрипловатый девический голос.

В низкой комнате с бревенчатыми стенами стояла кровать, покрытая вязаным покрывалом, стол, две лавки. Топилась печь и сильно пахло сосновой смолой. Маленькое кривое окно наполовину заросло с улицы лебяжьим сугробом.

– Вы к папе? – спросил этот голос.

Лазарь не отрывал взгляда от своих валенок и не видел той, которая разговаривала с ним.

– Чего вы молчите?

Он поднял глаза. Девушка лет двадцати, хорошенькая, с коротким прямым носом и большими лучистыми глазами, смотрела без тени улыбки. Ее хрипловатый простуженный голос мешал темно-синим лучистым глазам.

– Вы кто? По какому вопросу? – Она начала раздражаться.

Из-за занавески, которая разгораживала комнату, выскочила пожилая, в мелко-серебристых кудряшках на лбу и висках, горбоносая женщина с вязанием в крошечных пальцах.

– Вы к Якову Палычу? А он в конторе. – Она улыбнулась неловко, пугливо.

– Я на поселении тут, – сказал Лазарь.

– Анечка! – захлопотала кудрявая. – Предложи молодому человеку снять верхнюю одежду. Проходите, пожалуйста. Мы знаем, как трудно живут поселенцы. Садитесь. У нас тут тепло.

Он снял во многих местах продырявленный ватник, который был очень велик, и все под него задувало. Сел, сжимая ватник в руках, и опять опустил глаза.

– Хотите попить кипятку с горным медом?

Из-за той же самой занавески вынырнули еще двое: девушка постарше, чем первая, с глазами поменьше, неяркими, светлыми, и с ней очень похожая на Анечку, скорее всего, ее мать, – вся седая, с лицом, таким робким, как будто за жизнь никто никогда ее не приласкал.

– Да нет, – сказал он. – Ничего не хочу. Пришел познакомиться.

Горбоносая, с серебристыми кудряшками, поставила перед ним чугунок с горячей картошкой, миску, пододвинула блюдце с крупной серой солью, потом сестра Анечки, по-прежнему не двинувшейся с места, нарезала на доске вынутый из печи горячий, с темно-золотой коркой, хлеб. Голова у него закружилась так сильно, что Лазарь слегка пошатнулся на стуле. Анечка подхватила его под локоть маленькой, но жесткой рукой.

Обжигаясь и торопясь, он ел растрескавшимися пересохшими губами картошку, отгрызал слабыми зубами хлеб и проглатывал не разжевывая, а три женщины сидели напротив, подпершись, и смотрели на него. Анечка стояла, прислонившись к печке тоненькой спиной, и глаза ее из темно-синих, лучистых, становились черными. Когда он наконец сглотнул последние крошки, Анечка принесла банку густого, темного меда и чистую ложку.

– Вот, – громко сказала она. – Попробуйте. Вкусно.

От сладости и крепкого запаха меда у него опять закружилась голова, и его начало сильно тошнить. Он испугался, что его сейчас вырвет, и вся эта сытная, прекрасная еда вывалится из живота наружу, а он будет голоден так же, как прежде. В дом, стуча обмороженными валенками, вошел старый, но крепкий человек с внимательным взглядом, блеснувшим на Лазаря. Он понял, что это хозяин, и встал.

– Спасибо, – сказал он. – Я ел у вас тут.

– Соня, – спросил вошедший. – Кто это?

– Иаков, – заволновалась женщина с серебристыми кудряшками. – Мы сами не знаем, Иаков! Пришел, мы его накормили... Он из поселенцев.

– Еврей?

– Я еврей, – сказал ему Лазарь.

– Садитесь, – вздохнул Иаков и пожевал лиловыми с мороза губами. – Садитесь и кушайте. Что вы вскочили?

Он ел мед, запивал его кипятком и быстро, блаженно пьянел. Глаза его сами закрывались, заволакивались изнутри слезами, и дико хотелось смеяться от радости. Анечка осторожно отодвинула от него ополовиненную банку.

– Вам плохо же будет!

Он покорно кивнул, облизнул ложку и аккуратно положил ее на пустую тарелку.

– Отдай ему банку! – сказал ей отец. – Раз хочет, – пусть ест.

\* \* \*

Ты – мой ненаглядный. Может быть, все это было и не так, не совсем так. И имена другие, и мед был, наверное, светлым. А может быть, не было меда. Но разве сейчас это важно? Разве сейчас – в никем не осознанной глубине, которую свет заполняет собою, в которую мне путь заказан до срока, а ты уже там, – разве во глубине и свете мы призваны помнить подробности?

\* \* \*

Первую неделю он почти ничего не замечал, кроме еды. От дома Анисьи до барака, где жил Яков Палыч с семьей, было не меньше двух часов пути, но теперь у него появились силы, он был почти сыт.

– Ишь, как залоснился! – сказала Анисья. – Ишь, мраморный весь.

Она подходила и грубой, но ласковой рукой приподнимала его отросшие надо лбом кудри. Кожа под волосами была белой, как поземка.

– Ты время-то там не тани. А то ведь уедут они, не догонишь. В Москву ведь уедут, как немца прогоним.

И Зиги, которого он все чаще видел рядом по ночам, говорил то же самое. Зиги приходил в рваном и засаленном, с чужого плеча, тулупе, один рукав у которого был пришит недавно и резко выделялся своим ярко-оранжевым цветом. Лицо брата не изменилось нисколько.

– Я жду сюда Грету, – сказал он однажды. – Теперь уже скоро.

– А мама с тобой?

– Она еще там. Ты разве не видишь ее?

– Нет, не вижу.

У Зиги задрожали веки.

– Я знаю, что все еще там. И отчим, и мама, и Лия. А Грета ко мне очень скоро придет.

Теперь – если бы принесли телеграмму «все умерли» – Лазарь бы ей не поверил. Мертв был только Зиги, но он любил Лазаря, поэтому и возвращался к нему.

Старшая дочь Иакова, или, как все называли его, Якова Палыча, Дора все пыталась улучшить минутку, чтобы поговорить с Лазарем наедине. Она заочно училась в Томском университете и собиралась стать историком. Младшую сестру Мириам, которая саму себя переименовала в Анечку, Дора не перевариварила с детства.

– Тебя зовут Лазарем, верно? – спрашивала она, сверля Лазаря небольшими светлыми глазами с голубоватыми тенями под ними. – Ведь ты же не станешь требовать, чтобы тебя называли Апполоном?

– Анисья меня давно Лешей зовет. Я даже привык.

Дора фыркала громко, как лошадь, и быстро наматывала кудрявую прядь на указательный палец. Они сидели у печки, которая только что разгорелась и дымила. Мать и тетка пошли доить коз, которых у Якова Палыча было три: Алиса, Виолетта и Тамань. Анечки дома не было.

– Она и над козами поиздевалась! – дрожащим голосом сказала Дора. – Ведь это она им дала имена! Какая «Тамань»? Тамань – это город на юге!

Лазарь молчал. Он не отрываясь смотрел на муку, которая возвышалась над поверхностью стола желтоватой длинной горкой, странно напоминающей крышку гроба, и думал о том, что пора бы печь хлеб. Дора пододвинулась к нему и, резким отчаянным движением схватив его горячую руку, потянула ее к своей талии. Он сразу отпрянул: Дора не привлекала его, и в теле Лазаря ничего не отозвалось, но она все теснее и теснее прижимала его ладонь к своей штапельной кофточке, на которой были какие-то вылинявшие голубые бутоны, и даже попыталась опустить его ладонь еще ниже, где начиналось крутое и тяжелое бедро. Он понял, что если сейчас убежать, то Дора его сразу возненавидит, и он тогда больше сюда не придет. Как можно вернуться в тот дом, где тебя ненавидят? И есть в этом доме картошку и хлеб? И пить молоко Виолетты с Таманью? Глаза Доры стали как будто слепыми, а губы ее вдруг раскрылись, разбухли. Он испуганно покосился на окно, застланное сугробом, и тихо вытянул свою руку из ее вспотевших рук.

– Нельзя. Мы с тобой не одни.

– Тебя ведь могли бы убить! – сказала она. – Мы тогда бы не встретились!

– Я на поселении здесь. – Он запнулся. – Меня еще могут убить даже здесь. Меня везде могут убить.

Она опустила глаза:

– Ты Мириам любишь? Но только не ври!

В комнате стало почти темно, разгоревшаяся печь красиво и ровно шумела. Мучная атласная горка была чуть заметна.

– Не ври мне! Не ври! – вдруг заплакала Дора. – Они мне все врут: и мама, и папа, и Соня! Про Мириам не говорю!

– Зачем они врут?

– Я тебе объясню. – Быстро и горячо заговорила: – Ты сам все поймешь! У папы в Москве есть любовница. Я слышала их разговор. Два года назад. Перед самой войной. И папа сказал тогда маме: «Ты знаешь, что я никуда не уйду. От Мириам я никуда не уйду. Она тяжело нам досталась с тобой». И да! Это правда! Ее от чего только не лечили в Москве! Она у них все умирала! Всю жизнь! А папа всегда с ней носился! Всегда! «Майн тахтр, майн тахтр!»<sup>1</sup> А я была папе почти безразлична! Потом он сказал, что не сможет уйти: его эта женщина – русская, слышишь? Она не еврейка. Ты понял меня? А он никогда не уйдет к русской женщине!

– И так всю жизнь врут? – спросил он простодушно.

– Ах, да! Так всю жизнь. Ты видел, какие у мамы глаза? И Соня все знает. Но Соня сама...

Тут Дора запнулась.

– Что Соня сама?

– Она даже замуж не вышла, вот что! И все из-за папы. Она его любит. Он, кажется, думал жениться на Соне, но мама была из богатой семьи, а Соня – двоюродная, без отца. И выросла в бедности... Соню мне жалко. Сестра моя с ней, как с прислугой! А Соня ни в чем ей не перечит. Ей лишь бы при папе. Он Соне сказал: «Мы сразу простимся, когда я почувствую, что больше в тебе не нуждаюсь. Решай». Она и боится. И коз научилась доить лучше мамы, и кур развела, лишь бы он не прогнал.

Дора горько, навзрыд плакала, прижавшись к плечу его мокрым лицом. Он сразу подумал про Сюсю. Она, может быть, тоже плачет сейчас. Прошло ведь два года. А жизнь человека –

---

<sup>1</sup> Моя доченька, моя доченька! (идиши)

такая же, как у деревьев в лесу. Поднимешь свою обреченную голову, шепнешь в облака: «Жить хочу, помоги!», а там и поникнешь, и весь ослабеешь. Придут с топором и порубят на части.

Плечо его в засаленной, тяжелой от пота гимнастерке стало мокрым от ее слез. Он тихо погладил ее по скользкой, тоже как будто раскалившейся и слегка дрожащей от рыданий косе. Дора подняла голову, притиснула его к себе обеими руками и быстро прижалась губами к его растрескавшимся губам. Дверь за их спинами громко хлопнула. На пороге, вся запорошенная, с белыми пушистыми ресницами и блеском своих круглых глаз сквозь ресницы, стояла сестра Доры Мириам, которую все звали Анечкой. Старухи в деревне о ней говорили: «мала больно, чистая кукла, не девка».

Она закусила губу и с каким-то диким озлоблением, которое было трудно даже предположить в девушке с такими лучистыми глазами, сказала отдельно:

– Я вас поздравляю.

И тут же исчезла.

– Ну, все, – прошептала испуганно Дора. – Теперь нам принцесса устроит! Увидишь!

Он бросился следом за Анечкой. Было совсем темно, какой-то слабый огонек – звезды или отблеска бледной звезды – тревожно замигал в небе, как будто ему подавали надежду, как будто бы чья-то душа – Зиги? Сюси? – хотела его поддержать в этом мире, который обоим уже был чужим. Торопливо ступая большими, с крепкими добротными заплатами на пятках, валенками, приблизились к дому жена Якова Палыча и Соня, двоюродная, приживалка.

– Ты, Лазарь, опять наших девушек ждешь?

– Нет. Анечка только что вышла куда-то, а Дора там, в доме.

Они удивились:

– А Анечка где?

Он не успел ответить: повалил такой снег, что все трое задохнулись от неожиданности.

– Ву майн тахтр?<sup>2</sup> – сквозь вату тяжелого снега услышал он голос испуганной матери.

Лазаря обожгло стыдом.

– Сейчас я найду ее, я приведу!

Он бросился направо и тут же провалился, зачерпнул валенком ледяного, пронзившего холода и, чувствуя, как в горле начинает стучать от страха, высвободился и, разгребая глубокий снег обеими руками, начал двигаться дальше. Вокруг было и темно, и одновременно странно светло от снега. Все звуки исчезли, только в голове стоял шум собственной крови.

– Унд во их бин?<sup>3</sup> – резануло его по самому сердцу, и твердая уверенность, что это конец, что он никогда не вырвется, никогда не увидит ни дома, ни мамы, ни Сюси, охватила его с такой силой, что он опустился на снег и зарылся в него всем лицом, как собака.

– Их бин им криг!<sup>4</sup>

И тут же он вспомнил, что в этой метели нетрудно погибнуть, и нужно идти и искать эту девушку, которая так на него обозлилась. А что он ей сделал? Лазарь поднял голову. Снег валил на него сначала беспощадно, густо, яростно, но потом, на самой вышине, вдруг растворился на секунду, и прозрачный дым не то лунного, не то какого-то другого света еще раз блеснул на него. Он сделал шаг влево и сразу наткнулся на что-то живое. Сквозь белизну проступила фигурка Анечки, идущей навстречу ему, увеличенной едва ли не вдвое налипнувшим снегом. Лазарь снял рукавицу и коснулся ее холодного лица.

– Тебя там все ищут, – сказал он с усилием.

– И больше всех Дора, – с издевкой сказала она. – Я вся обморозилась здесь. Я шагу не сделаю больше.

---

<sup>2</sup> Где моя дочь? (иди)

<sup>3</sup> А где я? (нем.)

<sup>4</sup> Я на войне! (нем.)

Тогда он взял ее на руки и понес.

\* \* \*

Ты мой ненаглядный. У тебя были глаза такой голубизны, что даже когда мы с тобой умирали, нам осталось два дня до минуты, когда лоб твой стал ледяным, ты вдруг посмотрел на меня тем вернувшимся, совсем молодым и совсем голубым, – таким голубым, что сейчас его чувствую, – сквозь всю нашу жизнь и сквозь все мое детство, – внезапно вернувшимся взглядом. Я помню.

\* \* \*

В конце февраля Анечка, покусывая нижнюю губу, сказала матери, что ее все время тошнит. Весь этот месяц Иаков, наблюдая за своей любимой младшей дочерью, строптивой, упрямой, с лицом как у куклы, но с очень решительным, жгучим характером, чувствовал, что сердце его готово выскочить из груди от боли. Но, кроме боли, у Иакова, – Якова Палыча, всеми уважаемого бухгалтера совхоза «Сибирские выси», – была еще гордость, и именно гордость не позволяла ему схватить приблудившегося к ним красавчика Лазаря за его темно-русые кудрявые виски, притиснуть к стене и спросить:

– Ты, Лазарь, о чем себе думаешь?

А Лазарь не думал. Он приходил к ним в дом почти ежедневно, его там кормили и потихоньку вытягивали из его недозревшей испуганной души все, что она накопила за жизнь. Они уже знали про маму и Зиги, про Грегу и Лию, Наума, про доктора Унгара и про гимназию. Скрывал он от них только Сюсю. Дора страдала от неразделенной страсти и так безутешно плакала по ночам, что к утру наволочка ее была насквозь мокрой. Анечка смотрела мимо Доры, мимо Сони и только, встречаясь взглядом с отцовскими настороженными и огорченными глазами, слегка поджималась, как будто робела. С Лазарем она стала женщиной. Это случилось через два дня после того, как он отыскал ее в дымящейся вьюге и на себе приволок домой. Случилось внезапно, каким-то порывом, и Лазарь хотел даже встать на колени, когда она вся искривилась от боли.

– Прости меня, Анечка, я...

– Дурачок, – сказала она. – Ты ведь любишь меня?

Началась новая жизнь. Невыносимо острые, не до конца понятные ей самой ощущения, которые Анечка теперь испытывала всякий раз, когда они оставались наедине, наполняли ее каким-то странным, раздраженным сознанием власти над ним, как будто бы он был рабом, а она – госпожой. И то, что он ярко краснел и стеснялся, смотрел так, как будто сейчас убежит, – все именно это ведь и подтверждало! А Лазарь страдал от стыда, от неловкости, казалось, что он виноват перед нею, хотя было видно, что оба нуждались в здоровой телесной любви. Когда Анечка уводила его за занавеску, где стояла ее кровать, накрытая связанным Соней одеялом, и требовательно смотрела на него своими очень лучистыми глазами, уверенная, что его нерешительность вызвана опасением, как бы не вернулся кто-нибудь из домашних, Лазарю всякий раз хотелось сказать ей, что у него есть Сюся, и поэтому даже если он никогда не ляжет с Анечкой на эту кровать и никогда не закричит от чисто физической, сладостной муки, во время которой мужчина не помнит, ни где он, ни кто с ним, то он очень скоро забудет и Анечку, и запах ее очень белого тела, и то, как она часто-часто моргает и не произносит ни слова во время их быстрых, пугливых, неловких сближений.

Через полтора месяца она сказала маме, что ее тошнит, и мама вместе с Соней – обе закутанные в пуховые деревенские платки и перепуганные насмерть – выпросили у Иакова

лошадь с подводой, чтобы отвезти Анечку в больницу. Иаков низко опустил голову, и видно было, как у него задрожала левая щека.

– Что с Мириам? – спросил он глухим рваным голосом.

– Она нездорова, – сказала жена. – Пусть доктор посмотрит.

– Пусть доктор посмотрит. – Он побагровел. – А мы с тобой разве без глаз? Мы слепые?

В областной больнице высокая, похожая на мужчину, с мелкой, кудрявой растительностью над верхней губой и вдоль щек, фельдшерица обнаружила, что Анечка беременна. Выслушав эту новость, немые от ужаса мама и Соня дрожащими руками натянули на Анечку шубку, всунули в валенки ее крохотные ноги и, плача навзрыд все втроем, вернулись домой. Иаков в железных очках и в ермолке сидел за столом, на котором лежала раскрытая Тора. Он сразу все понял.

– Иди сюда, Мириам. Садись и не бойся.

Лицо его словно подернулось пеплом. Стараясь не задевать взглядом ее тела, как будто бы в теле ее было что-то, чего он боялся, Иаков спросил, как же это случилось. Она промолчала.

– Тебе нужно замуж, – сказал он спокойно. – Где Лазарь?

– Но я не хочу еще замуж! Зачем мне? – И Анечка вспыхнула. – Я не хочу!

– Теперь уже поздно хотеть или нет.

Надел рукавицы, тулуп, волчью шапку. Ермолку сложил, завернул в кусок шелка. Прошел мимо Сони и мимо жены, как будто бы их вовсе не было в комнате. Через несколько минут, тяжело ступая валенками по скрипящему снегу, подвел уставшую лошадь к водовозке, и пока она бархатными, коричневыми губами пила из кадки, на которой разбила тонкий лед, ударив по нему мордой, обдумывал то, что ему предстоит. Было совсем темно, за снежной долиной, под которой стыла река, мертвым и неприкаянным светом блеснул тонкий месяц.

Лазарь выскочил на крыльцо босым, в одной рубашке.

– Она ждет ребенка. Ты знаешь об этом?

– Я – нет! Она мне ничего не сказала! – И Лазарь закашлялся хрипло и громко.

– Убил бы тебя, но ребенка мне жалко. Хоть толку с тебя, как с козла молока.

– Но мы с ней распишемся! Я ведь согласен!

– Сначала меня бы спросил: я согласен?

В проеме двери показалась Анися с лучиной, горевшей кровавым огнем.

– Здоровья вам, – громко сказала она. – Зайдите в избу, заметет.

– Здоровья и вам, – поклонился Иаков. – Мы поговорили уже. До свиданья.

Их расписали в областном центре Юзгино. На Анечке было красивое платье, и Соня связала ей белую розу, которую Анечка вдела в пучок. Туфельки, купленные еще в Москве, она надела прямо в санях, поэтому Лазарь, причесанный на косой пробор и ставший похожим на Зиги, нес Анечку, словно ребенка, до самых дверей неказистой конторы. В конторе стоял крепкий запах махорки и талого снега. Вечером состоялась свадьба. Дом Иакова жарко протопили, посреди его устроили хупу: натянули ярко-белую простыню на четырех высоких столбиках, и под эту простыню встали смущенные молодожены. Слепая от слез, пропитавших лицо и сделавших красными тени подглазий, сестра новобрачной держала свечу.

«Барух Ата Адонай, Элохейну Мелех ха-олам ашер бара сасон ве-симха, хатан ве-хала...» – серьезным, торжественным голосом нараспев произнес Иаков. – Благославен Ты, Господь наш Бог, Царь Мироздания, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту...»

Лазарь смотрел на свою жену, у которой ярко горели щеки, а в лучистых глазах стояло диковатое удивление, потом переводил зрачки на ее отца, который мог бы, наверное, убить его за то, что он, не любя, сделал его дочке ребенка, и думал, что эти вот тихие люди спасли ему жизнь, и что, если бы Зиги увидел сейчас эту скромную свадьбу среди неподвижных алтайских сугробов, он был бы, наверное, рад за него.



\* \* \*

На следующий день Яков Палыч, всеми уважаемый бухгалтер совхоза «Сибирские выси», начал хлопотать, чтобы мужу его младшей дочери разрешили перебраться к ним в барак и жить с ними общей семьей. Пришлось дать хорошую взятку одноному коменданту, но и от коменданта не много зависело. За взятку в военные их времена могли расстрелять и того и другого. В конце концов, случай помог: в школе умер директор, хороший мужик, на себе все тащивший. Он преподавал и немецкий, и химию. Вот тут Яков Палыч подсунул зятка.

– Уж кто-кто, а Лазарь сумеет! Научит!

Никто ему не возражал. Одноногий, скрепя пьяное сердце, подписывал справки.

Анисья, прямая, в платке по глаза, стояла на верхней ступеньке крыльца.

– Иди суда, Леша, хоть перекрещу. Ты лук у меня воровал по ночам, – сказала она. – Думал, бабка-то спит. А я не спала, я жалела тебя. Пускай, – говорю, – хоть лучком поживится, а то ведь помрот. Когда старики помирают, не жалко, а ты молодой.

\* \* \*

Он больше не убивал деревья, предсмертный скрип которых наматывался на голову, как бинт, и не отпускал его ни днем, ни ночью, он преподавал теперь в школе, где строгие, с большими руками, уральские девушки всегда опускали глаза, отвечая. И спал он теперь не один, а с женой. Она заплетала кудрявые волосы, ложась с ним в постель, в очень толстую косу, конец у которой он ей перевязывал большой белой лентой с конфетной коробки, еще довоенной и очень нарядной.

Ночью Лазарь просыпался от того, что сердце его дико билось в груди. Ему это напоминало, как бились на рынке в родном его городе куры, которым особенно ловко и быстро, специальным топориком, резали головы. Анечка спала рядом, и ее лицо с размашистыми, как листья папоротника, ресницами во сне становилось задумчиво-детским. Лоскутное одеяло бугорком приподнималось на животе: до родов осталось чуть больше недели.

Чего он боялся? Того, что ребенок умрет. Того, что придут и его арестуют. Того, что нет мамы, нет Лии, нет Зиги, Наума и Греты, Арона и Сюси. Есть только война. И война – это жизнь.

Ребенок родился в четверг. Хрупкий мальчик. Глаза как у матери, но голубые. Октябрь был теплым. Когда они возвращались из больницы, подул свежий ветер, и белую гриву их лошади вдруг позолотило слепящим закатом. Приблизив ребенка к лицу, Лазарь начал его согревать осторожным дыханьем. Ребенок поморщился, но не проснулся.

*Ты – мой ненаглядный. Теперь, в том пространстве, где все – только свет и куда не смогу пробиться до срока, – ты помнишь все это? А помнишь, как ты мне сказал «моя доченька», когда уходил, оставлял меня здесь?*

## Дед

Закрываю глаза и вижу этот переулок. Первый Тружеников. Двухэтажный деревянный дом, в котором я прожила первые десять лет своей жизни, и маленькую церковь на той же, правой, стороне улицы, где Чехов венчался с Ольгой Книппер, и угловой дом, на втором этаже которого жила моя одноклассница Алка Воронина, и у ее мамы, работающей в ГУМе продавщицей, часто бывали гости.

Я никогда не представляю себе его летом, всегда только зимой. Странная вещь – воображение: вижу не только снег, от которого бела и пушиста мостовая, но чувствую его запах, слизываю его со своей горячей ладони, только что больно ударив ее на ледяной дорожке, которые мы называли «ледянками» и на которых всегда звонко падали, особенно лихо разбежавшись. Когда я родилась, парового отопления в нашем доме еще не было, отапливали дровами, и особым наслаждением было ходить с дедом на дровяной склад – по раннему розовому морозцу – выбирать дрова. Так чудесно пахло лесом, застывшей на бревнах янтарной смолой, что жалко было уходить из этого мерцающего снегом и хвоей царства, где свежие дрова лежали высокими поленицами и покупатели похлопывали по ним своими рукавицами, прислушивались к звуку и даже, бывало, принимались.

Дед умер, когда мне было семь лет, и самое яркое воспоминание о нем связано с тем, как последней перед школой зимой меня решили поглубже окунуть в детский коллектив, покончить с моею застенчивостью, но в сад отдать все-таки не захотели, а выбрали для этой цели «группу». «Группами» называли детей, гуляющих в сквере с интеллигентной дамой, а чаще старушкой из «бывших», которая играла с этими (тоже обычно интеллигентными!) детьми, водила с ними хороводы и заодно пыталась заронить в их беспечные головы несколько иностранных слов, обычно немецких и реже – французских. Таким образом здоровая прогулка на свежем воздухе совмещалась с образованием. Сначала меня записали к Светлане Михайловне, женщине румяной, круглоглазой и очень крикливой, но вскоре выяснилось, что ни одного иностранного языка Светлана Михайловна не знает, и меня перевели в другую группу, поменьше, где худенькая старушка Вера Николаевна с каким-то хрустальным прищептыванием легко переходила с одного иностранного языка на другой, но главное: только увидев меня, сейчас же вскричала: «Мальвина!» Чем очень понравилась бабушке.

Меня привели в сквер, как и полагалось, к десяти. Привел дед и, оглядев всех детей, а особенно Веру Николаевну, зоркими и умными глазами, пошел было к главной аллее (мы гуляли в маленькой, боковой!), чтоб выйти из сквера на улицу.

Я зарыдала и бросилась его догонять. Вера Николаевна бросилась за мной, интеллигентные дети, побросав свои лопатки, бросились за Верой Михайловной, и, хрустя по чистому, еще не исхоженному снегу своими валенками, мы все догнали деда и окружили его. Я, не переставая рыдать, уткнулась в карман его тяжелого добротного пальто, где лежали ключи. Дед растерялся. Меня необходимо было заставить остаться в этом хорошем детском коллективе, потому что иначе как же я пойду в сентябре в школу – такая вот дикая, странная девочка? Но при этом звук не то что моих рыданий, но даже легкого всхлипывания действовал на деда так неотразимо тяжело, что лучше уж было забрать меня сразу домой, пойти со мной вместе на склад, в военторг, где круглый год продавались елочные игрушки, и даже пойти в гастроном на углу и позволить мне выпить стакан томатного сока из общего, слегка ополоснутого стакана, что было строжайше запрещено бабушкой. И соли туда положить тоже общей, кривой и обугленной ложкой.

Умная и, думаю, всякого повидавшая на своем веку Вера Николаевна, хрустально прищептывая, предложила деду гениальное решение: сесть на одну из массивных лавочек с ажурными, утопающими в снегу лапами, спиной к нам, резвящимся на иностранном языке в малень-

кой боковой аллее, и так просидеть три часа. И я успокоюсь, поскольку дед рядом, и буду с детьми, как о том и мечтали.

И он послушался её, вернее меня, моих этих слез, и капризов, и криков. Он сел на лавочку, стоящую на центральной аллее, а я с остальными детьми вернулась к тому столетнему дереву с дуплом, под которым полагалось водить хороводы. И заигралась, конечно, забыла о нем, увлеклась своей новой и полной жизнью. Но каждые десять-пятнадцать минут я спохватывалась, бросала лопатку, бросала «куличик», слегка кривобокий от формы ведерка, и переводила глаза на эту лавочку, над которой возвышалась прямая спина моего деда, посеребренная мягко и медленно идущим с небес снегом. Один раз я не увидела его на этой лавочке и уже приготовилась зарыдать, но тут же успокоилась: дед никуда не ушел, он просто окоченел и потому подпрыгивал рядом, похлопывая себя по бокам и растирая щеки варежками. Ровно в час дня культурная и оздоровительная прогулка закончилась, и мы, взявшись за руку, пошли домой.

– Не замерзла? – спросил меня дед.

Я отрицательно покачала головой: новые впечатления переполняли меня.

И так продолжалось до самой весны: он сидел на лавочке, я играла с детьми. Он мерз, я сияла от счастья. Откуда мне, шестилетней, было догадаться, что значит сидеть три часа на морозе во имя любви?

## Как мой дед взял Зимний

*Оле*

Я пошла в первый класс. Жизнь наступила ужасная. На одном уроке учительница Вера Васильна, рыжая и огромная, с ярко начерченными бровями, ударила меня кулаком по руке, и на ней осталось большое красное пятно. На другом я тихо описалась, но звук оказался таким беспощадным, как будто скатился какой-нибудь Терек. Это было не в самый первый день, то есть не первого сентября, а, может быть, пятого или шестого, но ужасная жизнь началась сразу же, как только дети сложили свои астры и георгины, завернутые в газеты, на стол посреди вестибюля. Меня оторвало от бабули, прижало лицом в чей-то круглый затылок, и, ставши вдруг частью испуганной гусеницы из маленьких ног и бантов, я взобралась на второй этаж, где очень приятно пахло масляной краской, которая напомнила то, как в начале лета красили пол на даче. Я обрадовалась этому запаху, как, наверное, какие-нибудь узники в своих крепостях радуются, если на их зарешеченное окошко вспорхнет вдруг случайная птичка.

Тогда я, впрочем, ничего не знала ни о крепостях, ни об узниках. Я, если честно признаться, мало что знала о жизни, кроме того, что есть зима, когда волокнисто вздымается снег и каждая снежинка вспыхивает под светом уличного фонаря, и есть еще лето, когда мы гуляем в лесу и рвем в нем ромашки. В моей прежней жизни тоже были, конечно, сильные переживания и громкие восторги, но меня не били кулаками по руке, и я ни разу не слышала слова «строимся». Тем более я знать не знала о том, что была революция. О царе я, правда, слышала, но только из сказок, и не успела обратить на него должного внимания, потому что женственное с самого младенчества сознание мое было целиком поглощено царями и царевнами. Первого сентября выяснилось, что был царь, который так издевался над простыми людьми, что все эти люди собрались вместе, схватили в руки красные флаги (и ружья, конечно, схватили!) и свергли царя. Что такое «свергли», я сразу поняла: он спал на перине, и тут его «свергли».

К ноябрьским праздникам моя беспечная душа окончательно омрачилась. Каждая вспыхивающая под светом уличного фонаря снежинка покраснела, потому что в школе постоянно говорили о крови. Кровь эта, как выяснилось, бурлила буквально повсюду: солдаты проливали кровь за Родину, революционеры боролись до последней капли крови, буржуи и помещики пили кровь из народа, и все, что я по своей наивности прежде принимала за летние цветы и ягоды, было результатом все той же невиданной крови: «не зря мы кровью нашей окрасили поля: цветет – что день, то краше – Советская земля!»

То, что дома от меня скрывали самую главную правду и я ничего не знала о том, что царя «свергли», а целых семь лет все каталась на санках да в темном лесу собирала букеты, вызвало во мне испуг. Нужно было срочно исправлять жизнь. Менять ее так, как течение реки меняют строительством грозной плотины. Мы жили в деревянном доме. Квартира была коммунальной. У нас было две смежных комнаты, а в двух других, тоже смежных, жила очень высокая, с огромною грудью и темным венком из косы тетя Катя, «отбившая», как говорили, себе дядю Сашу, который ей был по плечо и к тому же татарин. Я тогда не знала, что есть разные народы и национальности, а думала, что «татарин» – это то же самое, что дворник. Дядя Саша был дворником и, пока тетя Катя не «отбила» его, скреб своей лопатой наш тихий переулок. Потом она его «отбила», и он стал работать на заводе. В доме напротив, тоже деревянном, жила моя подруга Алка Воронина. У Алки Ворониной была мать, работник торговли, и бабушка-пьяница. До школы мы не очень знали друг друга, потому что меня растили неправильно и, как говорила учительница Вера Васильна, «не готовили к жизни», но теперь, оказавшись в одном и том же первом «А», мы с Алкой сдружились, и она торчала у нас до самого вечера. К тому же и к маме ее ходил «хахаль», которому Алка мешала. Я думала, что «хахаль» – это клоун

с рыжими волосами, и не понимала, зачем он к ней ходит, но Алка сказала, что «хахаль» – мужик, и я успокоилась. Перед самыми каникулами Вера Васильна наконец подробно объяснила, как было дело: царь и его слуги спрятались в Зимнем, огромном дворце в Ленинграде, где их охраняла вся царская армия, но, как только с крейсера «Аврора» раздался залп, революционные солдаты и матросы ворвались в огромный дворец, и Зимний был «взят». В доказательство того, что в ее словах – все правда, Вера Васильна, смаргивая ресницами слезы, показала нам картину «Штурм Зимнего». Картина произвела на меня оглушительное впечатление. Люди с винтовками бежали прямо в огонь. Орала при этом так громко, что даже и мне было слышно. Картина дымилась, сверкала: на ней *брали* Зимний.

Ночью я проснулась. Мирный ноябрьский снежок шелушился на крыше высокого каменного дома, который было хорошо видно из моего окна. Свет ночника мягко золотил старинную акварель, где в нежных кудрях молодая красотка смеялась смущенно, лукаво, испуганно. Еще был ковер над кроватью: лиса, несущая в горы какую-то курицу. А если бы Зимний не взяли так вовремя, то нас никого бы здесь не было. Слезы подступили к моему горлу, и горячая соленая вода залила лицо. Я с трудом удержалась от рыданий, но что-то сверкнуло в моей голове. Такое прекрасное, светлое, сильное, что я моментально заснула от счастья.

Назавтра наступили каникулы. Алка Воронина пришла к нам обедать и с гордостью сообщила, что у них гости: к хахалю приехали брат с женой и друг, с которым хахаль служил в армии. Теперь все «гуляют». У нас было тихо. Красотка в кудрях, тетя Катя в переднике. Тетя Катя была строга, «гулять» не любила сама и дяде Саше не позволяла. Однако пекла пироги и варила холодец, поглядывая на портрет Сталина, украсивший общую кухню. Мы с Алкой сидели на подоконнике, поджав под себя ноги, и смотрели на улицу. Внутри ослепительно ясного снега шатались какие-то пьяные.

– Мне главное, чтобы мать снова пить не начала, – рассуждала Алка. – Тетя Таня говорит: «Если мать снова пить начнет, я тебя к себе заберу, не дам тебе помереть».

Алкина жизнь была полна опасностей, дни ее, в отличие от моих, были яркими и свежими: то хахаль, то гости, то пьют, то гуляют. Теперь: «помереть не дадут».

Тогда я решилась.

– Пойдем, – прошептала я Алке, спрыгивая с подоконника. – Я тебе одну вещь расскажу.

В маленькой комнате спала домработница, в большой лежала на диване бабуля и читала. Папы дома не было. Фотографии умерших мамы и деда висели на стенах.

– Куда пойдем?

– Пойдем на кухню, – приказала я. – Здесь не могу.

На кухне сидел дядя Саша и парил в ведре ярко-красные ноги. Обычно он делал это по вечерам, но сегодня по случаю наступившего праздника, начал прямо днем, не дождавшись, пока закатится солнце. В руках у дяди Саши была газета, которую он громко читал вслух по слогам. Мы с Алкой попили воды из-под крана.

– Пошли в уборную, – сказала я. – Там никого нет.

Уборная была самым теплым в квартире и очень уютным местом. Стены ее, выкрашенные в темно-зеленую краску, располагали к задумчивости.

– Алка! – прошептала я. – Мой дедушка взял Зимний дворец!

Алка открыла рот и ахнула.

– Когда?

– Как когда? В октябре!

– Откуда ты знаешь?

– Он сам мне сказал. Перед смертью.

Алка горячо заплакала и обняла меня. Я тоже заплакала.

– Чего ж ты молчала? Сказала бы Вере Васильне!

Я всей душой верила, что мой дед взял Зимний, и это его я узнала в одном из бегущих вчера на картине. Конечно, тот, слева. А может быть, справа.

– Он был героем-революционером, – дрожащими губами уточнила я, и сердце ударило в самое горло. – Он жизнь свою отдал борьбе.

Мощная ладонь тети Кати хлопнула по двери.

– Чего там заперлись?

– Сейчас! Погодите! – и я отмахнулась.

– Гони их, Катюша! – солидно сказал дядя Саша. – Они уже час там сидят.

– Перед самой смертью, – задыхаясь и торопливо сглатывая слезы, продолжала я, – он подозвал меня к себе и сказал, что взял тогда Зимний дворец.

– А бабушка знает?

– Наверное, нет. Он сказал: «никому».

– Да что вы там? Ай обоссались? – спросила сквозь дверь тетя Катя.

Она любила меня и терпеть не могла Алку, которая, будучи дочкой «гулящей», могла научить меня ужас чему.

– Катюша, я тоже хочу в туалет, – сказал дядя Саша, любивший слова покрасивей. – Гони их оттуда взащей.

Мы вышли. Тетя Катя всплеснула голыми руками в муке.

– Так что ж вы тут делали?

Ночью я не могла заснуть. Тело пылало под одеялом, а память восстанавливала минуту, как дед (тут перед глазами возникала некоторая путаница между моим настоящим дедом, высоким, худым, серебристо-небритым, и этим матросом, который был слева!) подозвал меня к своей кровати и повторил все, что вчера рассказала чернобровая Вера Васильна, тыкая указкой в картину. Утром оказалось, что у меня температура, и я проболела не только каникулы, но целых три дня после этих каникул.

Когда я за руку с бабулей вошла в школьный вестибюль, оба наших класса «А» и «Б» были уже построены и развернуты лицами к лестнице. Бабуля приготовилась извиняться, но Вера Васильевна, вся разругавшись, шагнула навстречу, как будто бы мы принесли ей подарки.

– Иди скорей, стройся! – сказала она и расправила брови.

На перемене Вера Васильна подошла ко мне:

– Панкратова!

Мы с Алкой гуляли по коридору.

– Воронина, погуляй одна! – сказала Вера Васильна. – Панкратова, иди за мной!

В пустом классе были открыты форточки: помещение проветривали, и пахло немного бензином и снегом.

– Твой дедушка был революционером? – волнуясь, спросила она.

Я покраснела так, что школьное платье прилипло к спине.

– Да, был. Он взял Зимний дворец.

Большое лицо Веры Васильны пошло пятнами, похожими на гроздь рябины.

– Панкратова! Что же ты раньше молчала? Твой дед был героем. Теперь весь наш класс будет этим гордиться.

Глаза ее увлажнились, и она быстро погладила меня по голове.

После уроков Вера Васильна, расталкивая учеников и родителей, протиснулась к бабуле, ждущей на лавочке в вестибюле с моей шубой и валенками на коленях. Бабуля испуганно приподнялась.

– Мы узнали, что ваш муж принимал участие в штурме Зимнего дворца, – сказала Вера Васильна, схватив сильными пальцами ее руку.

Бабуля выронила валенки.

– Ваша внучка рассказала об этом своей подруге Ворониной, а Воронина рассказала мне.

Тот страх, который сковал бабулю, был вряд ли подвластен словам. Но опыт всей прожитой жизни был равен наставшему страху. Она усмехнулась:

– Болтушка какая! Вот хвастаться любит!

– Какое же тут хвастовство? Ведь этим же нужно гордиться!

– А мы ей всегда говорим, – не чувствуя губ, языка, неба, рук и мелко дрожа, отвечала бабуля, – что каждый лишь сам за себя отвечает и нужно своими заслугами жить. За спину другого не прятаться.

– Но если в семье есть герой?

– Ах, что тут такого? У нас вокруг много героев.

– Так я расскажу на линейке ребятам? – полувопросительно сказала Вера Васильна.

– Вы знаете, лучше не нужно! Когда это было! Воды утекло! – Бабуля махнула рукой. – А ей привыкать к хвастовству! Она вон и так ни уроки не учит, ни книг не читает. Скажу ей: «посуду помой» – не желает! А тут и вообще ведь от рук отобьется! Нет, очень прошу вас, не нужно!

Бабуля повела меня домой, ухватив за воротник и даже не взяв у меня портфеля, который волочился за нами по снегу. Дома она села на стул и расплакалась.

– Господи! – заговорила она сквозь слезы, глядя на висевшие по стенам фотографии. – Господи! Ты меня слышишь! Набитая дура растет! Взяли Зимний!

## Бывшие

Дача принадлежала двум семьям: моему деду с бабушкой и родной сестре деда Антонине Андреевне с мужем Николай Михалычем. Мы занимали первый этаж «большой» половины дома, а деда родная сестра Антонина – первый этаж «маленькой». У нас была застекленная терраса, на которой стояли кресла со львами на ручках, у них – терраса была открытая и мебель стояла простая, плетеная. Наверх вела лестница, такая извилистая и темная, что на ней можно было спрятаться, стоя во весь рост. Черно, жутковато, никто не отыщет. На втором этаже, где солнца особенно много и жарко, были две комнаты с чуланом, который назывался пушистым, как птенчик, и ласковым словом «боковушка». В одной из комнат – окно во всю стену, еловые ветки. Хотели срубить, но потом пожалели, и ель нависала над комнатой сверху.

Все пахло по-своему, неповторимо. Особенно тамбур, где стояли ведра с питьевой водой, и боковушка, где пыль нагревалась, как пудра на скулах. К середине июня «маленькая» половина пропитывалась запахом жасмина, который рос прямо у крыльца и землю забеливал густо, как снегом. На нашей террасе, где много варили, сначала ужасно несло керосином (варили на примусе!), а позже, в связи с улучшением быта, пахло не сильно, но все-таки газом, который дважды в неделю привозили в красных баллонах, и запах был нежным, слегка кисловатым.

На нашей, «большой» половине – кто жил? Жила я, жила моя бабушка, быстрая, с открытой и умной душой, жил дед, худощавый, печальный, жила домработница Валька. О ней и рассказ.

Хотя, впрочем, нет. Нельзя и представить себе, что я обойду без причины вторую, «маленькую», половину нашего деревянного, у леса – последнего, с пышным жасмином, клубникой, малиной, залитого солнцем, далекого дома, почти родового гнезда, колыбели. Где все, кто в нем жил, уцелели случайно. И дед, и сестра Антонина с супругом, а также граф Болотов, Федор Петрович, поселившийся наверху, на Антонининой половине, и милая, стройная, с коком, княгиня Лялька Головкина. Вот, кто уцелел, их немного. Граф был длинноносый, лысый и мнительный человеком, женатым на деда племяннице Ольге, которую мучил тяжелым характером. А Лялька Головкина («шляпа», как нежно звала ее бабушка) жила со своим третьим мужем, Владимир Ивановичем, тихим и милым, в той комнате, где боковушка с окном. Народу немного, страстей – выше крыши. И страсти кипели, подобно малине, червивой, немного подгнившей, но сладкой, которая шла в варенье. А крупную и без червей – просто ели.

Нельзя приступить сразу к Вальке. Обидно. Сначала нужно сказать, что граф Федор Петрович семь лет подряд не разговаривал с княгиней Головкиной, которая вечно смеялась своим очень вежливым, слабым, ехидным, но слуху любого приятным сопрано. Однажды, услышав, что графа «знобит», причем ежедневно и ровно в четыре, княжна досмеялась до сильной икоты, о чем сообщили немедленно графу, и он перестал разговаривать с Лялькой. Озноб как и был, так, конечно, остался, а «шляпу» – княгиню – граф вычеркнул сразу. И даже если она со своим немного косящим, ясным взглядом проходила мимо его тощей фигуры, когда он работал в саду острыми и страшными садовыми ножницами (и близко совсем проходила, и мягко!), пытаясь сказать ему «доброе утро», граф только бледнел крепким лбом под беретом и низко склонялся к напуганным флоксам.

Жили, однако, весело. В пять сходились к вечернему чаю на открытую террасу. Жасмином дыша, ели каждый – свое, но чай был совместный, и, если пирог или мусс из малины, то это всегда полагалось съесть вместе. Свое приносили по разным причинам. Граф Федор Петрович не мог без «галетов». Они были белыми, хрустящими, с золотистыми прыщиками, и их полагалось намазывать «джемом». Слова иностранные «джем» и «галеты» звучали, как джаз, о котором не знали. Родная сестра Антонина («баб Туся») любила чего поплотнее, послаще. Ну, сырников, скажем, с вареньем, сметаной. Сама их пекла и сама же съедала. Николай Михалыч



однажды провел целый месяц в болоте, – военным врачом, попав в окружение. Шел год сорок третий. Как выжил, не знаю. Вернулся, отмылся, седой, меньше ростом. Сказалось на многом, включая питание: любил сухари с кипятком, и чтоб – вдоволь. А чаю не пил никогда, рук не мыл, клубнику ел с грядки, с прилипшей землею. До смерти с трудом дотянул, всех боялся. Диагноз шептал, а ресницы дрожали. Конечно: болото. А впрочем, не только.

Ведь я говорю: уцелели случайно. Сперва революция. Нет, сперва – детство. Со сливками, няней, мамашей, папашей. Учили французскому, девочек – танцам. Каток, поцелуи, гимназия, выпуск. Потом революция. Девочек, ставших девушками, разобрали мужчины (кто честно женился, кто так, между делом), но этих мужчин убивали нещадно. У Ляльки, княгини, двоих. Владимир Иванович был третьим, он выжил. А граф с этим вечным досадным ознобом в анкетах писал, что отец его – слесарь. Дрожали всю жизнь, но жасмин был жасмином, и чай полагалось пить в пять. Вот и пили. А рядом, в лесу, куковала кукушка. Считали «ку-ку» с замиранием сердца.

Минут через сорок по дачам проносился крик: «Воду дали!» Люблю этот крик, до сих пор его слышу. Без десяти шесть начинали поглядывать на часы, без пяти – переглядываться. Кусок больше в горло не лез, и кукушка смолкала. Без трех минут шесть опускали глаза, чтобы не видеть пустого крана в саду. Он мертв был, безволен, заржавлен, несчастлив. Но чудо! Кран вдруг начинал просыпаться и фыркать, как конь, и давиться, и кашлять. А в шесть! В шесть брызгал из его пересохшего горла темный сгусток, как будто кран сплевывал желчь со слюною, и тут же, – сверкая, дрожа от свободы, сама расплетая себя, словно косу, – о, тут начиналась вода! Вскидывали, бежали за ведрами. Граф – первым, княгиня – последней. Забыть эту воду, бьющую в кривые от старости ведра, в их синие, серые в крапинках тельца, забыть ее вкус – вкус самой моей жизни – почти то же самое, что забыть собственное имя. Не дай Бог такого. Несли ведра в тамбур, как флаги победы.

Среди этих людей, «бывших», как говорила моя бабушка, румяная круглая Валька была чем-то вроде чужого ребенка. Ее и жалели, и грели, и тут же шпыняли (поскольку «прислуга»!), боялись при ней говорить откровенно, однако охотно дарили подарки, она была частью их «бывшего» мира, в котором всегда были «вальки» и «ваньки», но поскольку самого этого мира больше не было, то и Валька не *прирастал* к ним, а как-то скорее *мелькала, сквозила*. Могла и исчезнуть в любую минуту. Откуда же в красной России – «прислуга»? Господ-то лет сорок назад перебили.

Румяная круглая Валька появилась в качестве «нашей» домработницы (мы ее и вывозили на дачу!), но обедала и подарки получала не только на нашей, «большой» половине, но и на «маленькой», и если, уехав в город на свой законный воскресный выходной, она не возвращалась обратно с восьмичасовой электричкой, то все волновались, вздыхали и ждали.

А тут и настал фестиваль молодежи. Москва расцвела, как невеста в день свадьбы. Дворники, опустив узкие глаза, с рассвета мели переулки. Увечных и нищих с детьми и бездетных свезли, куда следует, чтоб не мешали, на месте их жизни разыграли фонтаны. Все те, кто мог, покидали жилища, спеша поучаствовать в празднике мира, а тот, кто не мог, прилипал к телевизору. Экраны были маленькими, пучеглазыми, и всемирная молодежь казалась немного сплюсненной. Валька начала готовиться к фестивалю зимой. Пошила два платья: одно – из сатина, другое, в горошек, из жатого ситца. С приходом весны чисто выбрила брови и стала каждую ночь накручивать волосы на большие железные бигуди. Привыкла, спала в бигудях, как убитая. Но главное: вся налилась ожиданием. В начале мая, когда по оврагам, где думал он спрятаться и отлежаться, растаял весь снег, Валька заявила, что уходит в десятидневный отпуск. Не все же белье полоскать в сонной речке и слушать лесную кукушку с террасы! К тому же вокруг старики и старухи. Бабушка моя с ее ясным умом и открытым сердцем поняла, что Вальку не переспоришь, глаза опустила, на все согласилась.

Спросила одно:

– Ночевать-то где будешь?

– А что ночевать? Ночевать буду дома, – простодушно ответила румяная прислуга. – Гулены одни по вокзалам ночуют!

У бабушки отлегло от сердца: бесхитростное колхозное дитя смотрело открыто, сияло доверьем, и лак на ногтях был краснее рябины. В первый день наступившего отпуска Валька выплыла на большую террасу белым лебедем. Терраса, набитая «бывшими», ахнула. Новые босоножки (из каждой робко вылезало по неуклюжему мизинцу), высокие кудри, и брови, как уголь, и губы в помаде.

– Тебе бы очки еще, Валя. От солнца. Ну, как теперь носят... – вздохнула княгиня.

Находящаяся в отпуске Валька отвернулась, пошарила в сумочке. Потом повернулась обратно, надменная. Очки на глазах. Вот вам. Все как в журнале.

– Ох, Валя! – сказал ей Владимир Иваныч.

– Бегу! – ответила ему Валька. – Загорский могу пропустить, опоздаю.

– А кто тебя ждет? – хмуро спросил мой дед.

– Одна не останусь! – звонко отрезала прислуга. – Поди, не в деревне, людей – не сочтешься!

И птицей в калитку.

– Ну, все! Ускакала! – сказал хмурый дед и укоризненно посмотрел прямо в светло-черные бабушкины глаза. – Ведь я говорил: не пускай. Дура-девка!

– А что я могла? За подол уцепиться? – отводя глаза, пробормотала бабушка. – Вернется, куда ей деваться?! Вернется!

Вернулась за полночь. «Бывшие» сидели на террасе, дышали жасминовым снегом и ждали.

– Ну, что? Ну, рассказывай!

Валька томно уронила сумочку прямо на стол, глаза закатила, а губы надула.

– Приехали к нам, – скороговоркой ответила она. – Кто черный, кто желтый. Кто с Африки, кто с Аргентины. Индусы. Все голыми ходят.

– Как голыми, Валя? – прошептал Николай Михалыч и испуганно опустил глаза.

– А так! Очень просто. – задиристо срезала Валька. – Накинут халатик и – здрасте! Привыкли там, в этом... В Бомбее. Жарища!

– А что на ногах?

– На ногах? Сан-да-леты!

«Бывшие» переглянулись: «галеты» мы знаем, теперь: «сандалеты». Запомнить легко, лишь бы не перепутать.

– Поди, Валька, выпишь, – сказал ей мой дед. – Опять небось завтра поедешь?

– Еще бы! – вскрикнула уязвленная Валька. – Не с вами сидеть, когда люди гуляют!

А люди гуляли. Молодежь обнималась со студентами, студенты с молодежью. Эскимо было съедено столько, что улицы стали серебряными от оберток. Русоголовые девушки скрывались в кустах Парка имени Горького и там подставляли себя поцелуям больших, белозубых и сильных приезжих. Был мир во всем мире и страстная дружба.

«Бывшие» следили только за тем, где шальная девка ночует. Но «девка» ежедневно возвращалась на последней электричке, со станции шла всю дорогу босая, несла босоножки в руках, напевала. Слова незнакомые: может, на хинди.

Но все завершается. Все. Посмотрите! Все как-то – увь! – подсыхает и гаснет. Возьми хоть цветок полевой, хоть синицу. Куда подевались, зачем народились? Вот так же и мы, так же эти студенты. Гуляли, гуляли и – тю-ю-ю! – улетели. Стал город пустым, постаревшим и грустным. И лето закончилось. Пышные астры в своей погребальной чахоточной силе раскрылись на клумбах, пошел с неба дождик... Короче: тоска, наваждение печали. Дачники верну-

лись обратно в коммуналки, перетасили туда банки с вареньем, бутылки с наливками, дети (садисты!) – коллекции бабочек, в муках умерших.

И вот однажды... Однажды в ту коммуналку, где я родилась и росла, где топились большая голландская печка, пришел почтальон. Он пришел, маленький, серенький, слегка запыхавшись, с матерчатой сумкой, и дал моей бабушке в руке повестку.

– Вот вам. Распишитесь.

Она помертвела. Она расписалась. На ватных ногах добрела до дивана, раскрыла конверт. Ей, Е.А. Панкратовой, и мужу (Панкратову также, К.А.), приказывалось явиться к следователю по особо важным делам товарищу Хряпину в 10.00. И адрес указан: Лубянская площадь.

Бедная голубка моя! Не дряхлая, нет! Моя бедная! Вижу, как она – белее жасмина, белее сметаны – снимает трубку, чтобы позвонить деду, и снова кладет эту трубку обратно. Потом она достает папиросу из начатой пачки и не может зажечь спичку, чтобы прикурить: так прыгают пальцы. Потом – очень тихо – хватается за голову. Потом – очень медленно – набирает телефон Антонины. Когда та подходит, она говорит: «Приезжай». Через час приезжает сестра Антонина Андревна. Они сидят вместе и шепчутся.

– Туся! Ведь нас заберут.

– Что ты, Лиза!

– Мешочек где – помнишь? С колечками?

– Мешочек? Да. Помню. Они ведь там оба?

– Да, оба. И там же браслет.

– Что ты, Лизанька? Будет...

– Все – девочке, Туся...

В семь часов вечера, замерзший от ветра, пришел дед с работы. Ему протянули повестку. Дед изменился в лице.

– Ну вот. Доигрались.

Бабушка прыгающими пальцами налила ему супу.

– Поешь хоть.

Дед поднес ложку ко рту и опустил обратно в тарелку.

– Не хочется, Лиза.

Потом Антонина ушла, сильно сгорбившись. Потом хлынул дождь, ночь настала. Трамвай отзвенел за окном, все затихло. Не спали, шептались.

– Как думаешь, Костя? За что?

– Кто их знает!

Ни свет ни заря – поднялись.

– Поехали, Лиза.

Лубянский проезд. Вот оно. А что же все дождь, дождь и дождь? Пока дошли, вымокли. Зонтик забыли. Тяжелая дверь. Не скрипит. Видно, смазали.

– Товарищи, вам на четвертый этаж.

Ну что ж. На четвертый.

– После *ее* смерти... Нам *некого*, Лиза, бояться. И нечего.

Имеет в виду: смерти дочери.

– Ах, только бы вместе! Ведь там, говорят, по отдельности, Костя. Мужчины и женщины. Все: по отдельности.

Вот он, кабинет. В.П. Хряпин. Наверное: Виктор Петрович. А может быть, Павлович, кто его знает.

– Зайдите, товарищи.

Зашли, наследили: ведь дождь, очень грязно.

– Простите, мы тут...

– Ничего. Подойдите.

Сидит за столом. Ни лица, ни обличья. Костюм серый, штатский. Очки. Сам безбровый. Глаза незаметные, нос незаметный, а рта вовсе нету. Какой же ты Хряпин?

Достает фотографию, показывает.

– Известен вам этот товарищ?

На карточке – важный, мордастый, заросший. Похож на «товарища» Маркса.

– Известен?

– Нет, первый раз видим.

– Смотрите внимательней!

Смотрят: мордастый.

– Нет, нам неизвестен.

– Тогда объясните, зачем ему ваш телефон? И откуда? Кто дал ему ваш телефон?

Дед замечает, как у бабушки дрожат руки. Она прячет их под мокрую клеенчатую сумку, и сумка сама начинает дрожать. Убить бы вас всех, сволочей, негодяев, за Лизину дрожь.

– Мы этого *юношу* первый раз видим.

– Откуда же ваш телефон в его книжке?

Дед мягко разводит руками:

– Не знаем...

– Из вашей семьи кто принимал участие в фестивале молодежи и студентов?

Дед быстро наступает на бабушкину ногу под столом. Сигнал отработанный: время проверило.

– Какая же мы «молодежь»? Старики мы...

– Ну, может быть, дочка?

У бабушки сразу взмокают ресницы.

– Она умерла. – Дед бледнеет.

Не смотрят на Хряпина – мимо и выше: на небо за стеклами. *Там* наша дочка.

– Не знаете, значит?

– Нет, к счастью: не знаем.

Хряпин кривит то место в нижней части лица, где должен быть рот.

– Ну, что же... Не знаете, значит не знаете.

Выписывает две бумажки.

– Сержант Огневой! Проводите товарищей.

Сержант Огневой молод, строен, кудряв. Но веки красны: то ли пьет, то ли плакал.

– Идите за мной.

– Идем мы, идем. Нам ведь, главное, вместе.

– Покажете пропуск внизу. До свиданья.

Как пропуск – внизу? Значит, нас НЕ забрали? А вслух:

– До свиданья, всего вам хорошего!

Обратно под дождь.

– Костя! Что это было?

– Ну, Валька, ну, дура! Ты видела морду?

– Так он иностранец, наверное, Костя?

– А может быть, нет. Что по карточке скажешь? Ты, Лиза, ее не ругай. Дура-девка.

– О Господи! Что она видела в жизни? Одну нищету...

Вернулись домой. Валька жарит котлеты.

– Погодка сегодня! Куда ж вас носило?

– Дела, Валентина. Давай-ка обедать.

– Так я вас ждала! Очень кушать охота, сейчас принесу, – улетела на кухню.

– Включи, Лиза, радио. Пусть поиграет. Послушай меня. Я тихонечко, Лиза. Ты Вальке  
– ни слова. Ведь нас отпустили? Зачем же пугать ее?

– Незачем, Костя.

А Валька тем временем пела на кухне:

Сорвала-а-а я цветок по-о-олевой!  
Приколола-а-а на кофточку белую-ю!  
Жду я, милы-ы-ый, свиданья с тобо-ой!  
А сам-а-а к тебе шагу не сделаю-ю-ю!

*Бостон, 2009*

## Напряжение счастья

Зима была снежная, вся в синем блеске, и пахла пронзительно хвоей. У елочных базаров стояли длинные очереди, и праздничность чувствовалась даже внутри того холода, которым дышали румяные люди. Они растирали ладонями щеки, стучали ногами. Младенцы в глубоких, тяжелых колясках сопели так сладко, что даже от мысли, что этим младенцам тепло на морозе, замерзшим родителям было отраднее.

Я была очень молода, очень доверчива и училась на первом курсе. Уже наступили каникулы, и восторг, переполнявший меня каждое Божие утро, когда я раскрывала глаза и видела в ослепшей от света форточке кусок несказанно далекого неба, запомнился мне потому, что больше ни разу – за всю мою жизнь – он не повторился. Минуты текли, как по соснам смола, но *времени* не было, *время* стояло, а вот когда *время бежит* – тогда грустно.

Ничто не тревожило, все веселило. Новогоднее платье было куплено на Неглинке, в большой, очень темной уборной, куда нужно было спуститься по скользкой ото льда лесенке, и там, в полутьме, где обычно дремала, согнувшись на стуле, лохматая ведьма, а рядом, в ведре, кисли ржавые тряпки, – о, там жизнь кипела! Простому человеку было не понять, отчего, с диким шумом Ниагарского водопада покинув кабинку, где пахло прокисшей клубникой и хлоркой, распаренные женщины не торопятся обратно к свету, а бродят во тьме, словно души умерших, и красят свои вороватые губы, и курят, и медлят, а ведьма со щеткой, проснувшись, шипит, как змея, но не гонит... Прижавшись бедром к незастегнутым сумкам, они стерегли свою новую жертву, читали сердца без очков и биноклей.

Мое сердце прочитывалось легко, как строчка из букваря: «мама мыла раму». Ко мне подходили немедленно, сразу. И так, как оса застывает в варенье, – так я застывала от сладких их взглядов. Никто никогда не грубил, не ругался. Никто не кричал так, как в универмаге: «Вы здесь не стояли! Руками не трогать!»

Ах, нет, все иначе.

– Сапожками интересуетесь, дама?

Я («дама»!) хотела бы платье. Ведь завтра тридцатое, а послезавтра...

– Да, есть одно платьице... Но я не знаю... Жених подарил... – И – слеза на реснице. Сверкает, как елочный шар, даже ярче. – Жених моряком был, служил на подводке... А платьице с другом своим передал... Ох, не знаю!

– А где же он сам?

– Где? Погиб он! Задание выполнил, сам не вернулся...

Не платье, а повесть, точнее, поэма. «Прости!» – со дна моря, «Прощай!» – со дна моря... Мне сразу становится стыдно и страшно.

– Ну, ладно! Была не была! Девчонка, смотрю, молодая, душевная. Пускай хоть она за меня погуляет! А парень-то есть?

– Парень? Нету.

– Ну, нету – так будет. От них, от мерзавцев, чем дальше, тем лучше! Пойдем-ка в кабинку, сама все увидишь.

Влезаем в кабинку, слипаясь щеками.

– Садись и гляди.

Сажусь. Достает из пакета. О чудо! Размер только маленький, но обойдется: уж как-нибудь влезу. (Погибший моряк, видно, спутал невесту с какой-нибудь хрупкой, прозрачной русалкой!)

– Ну, нравится?

– Очень. А можно примерить?

– Ты что, охренела? Какое «примерить»? Вчера вон облава была, не слыхала?

Мертвею.

– Облава?

– А то! Мент спустился: «А ну, все наружу! А ну, документы! «Березку» тут мне развели, понимаешь!» Достал одну дамочку аж с унитаза! Сидела, белье на себя примеряла. Ворвался, мерзавец! Ни дна ни покрывки!

Начинаю лихорадочно пересчитывать смятые бумажки. Бабуля дала шестьдесят. Плюс стипендия. Вчера я к тому же купила колготки.

– Простите, пожалуйста... Вот девяносто...

– Ведь как угадала! Копейка в копейку! Просила одна: «Уступи за сто сорок!» А я говорю: «Это не для продажи!» А ты – молодая, пугливая... В общем, не всякий польстится... И парня вон нету...

Сую все, что есть, получаю пакет.

– Ты спрячь его, спрячь! Вот так, в сумочку. Глубже! Постой, дай я первая выйду. А ты посиди тут. Спусти потом воду.

Минут через пять поднимаюсь наверх. О, Господи: свет! Это – вечное чудо.

Тридцать первого у меня гости. Заморское платье скрипит при ходьбе. Налезло с трудом, но налезло. (Не знаю, как вылезу, время покажет!) Готовлю по книжке салат «оливье», читаю: «Нарежьте два крупных яблока». Бегу в овощной на углу.

Продавщица сизыми, как сливы, толстыми пальцами ныряет в бочку с огурцами.

– А что же кривые-то, дочка?

– Прямые все съели!

– Да ты не сердись! Дашь попробовать, дочка? А то я вчера рано утром взяла, куснула один, так горчит, окаанный!

– «Горчит» ей! На то огурец, чтоб горчить! Не нравится, так не берите! «Горчит» ей!

– Да как «не берите»? Сватов пригласили!

– Пакет у вас есть? Он дырявый небось?

– Зачем же дырявый? Он новый, пакетик...

– Рассолу налить?

– Ой, спасибочки, дочка!

На яблоках – темные ямки гнильцы. Мороз наполняет мой бег звонким скрипом.

Дома напряжение счастья достигает такой силы, что я подхожу к окну, отдергиваю штору и прижимаюсь к стеклу. Все небо дрожит мелкой бисерной дрожью. Одиннадцать. Первый звонок. Три сугроба в дверях: подруга Тамара («Тамар» по-грузински!), любовник Тамары Зураб Бокучава, а третий – чужой, и глаза как маслины, залитые скользким оливковым маслом.

– Зна-а-комтэс, Ирина. Вот это – Георгий. В Тбилиси живет.

– Ах, в Тбилиси! Тепло там, в Тбилиси?

– В Тбилиси вчера тоже снег был, но теплый!

У Томки с Зурабом – совет да любовь. Аборт за абортom. Зураб презирает метро, ездит только в такси. Пришлют ему денег, так он, не считая, – сейчас же на рынок. Накупит корзину чурчхелы, киндзы, телятины, творогу, меду, соленьев. Неделю едят, разругавшись. Вволю. Гостей приглашают. Те тоже едят. Хозяин квартиры – второй год в Зимбабве, хозяйские книж-

ные полки редуют: Ги де Мопассана, Майн Рида, Гюго снесли в магазин «Букинист» и проели. Зимбабве воюет, не до Мопассана.

Промерзшие свертки – на стол.

– Ах, коньяк? Спасибо! А это? Хурма? Мандарины! Вы что, только с рынка?

– За чем нам на рынок? Вот, Гия привез.

– Садитесь скорее, а то опоздаем! Пропустим, не дай Бог! Бокалы-то где?

Летаю, как ветер, не чувствую тела.

Звонит телефон. Беру трубку. Акцент. Но мягкий, чуть слышный.

– Ирина?

– Да, я.

– Я к ва-ам сейчас в гости иду. Где ваш корпус?

Зураб привстает:

– Это друг, Валэнтин. Хадили с ним в школу в Тбылиси. Нэ против?

– Ах, нет!

– Пайду тагда встрэчу. Мы с Гией пайдем.

– За чем я пайду? А Ирине па-амочь?

– Ах, не беспокойтесь!

– А што там на кухнэ гарит? Што за дым?

– Какой еще дым?

– Нэ знаю, какой, но я нюхаю: дым. Хачу посмотреть. Пайдем вмэстэ, па-асмотрим.

На кухне целует в плечо.

– Да вы что?

Вздыхает всей грудью, со стоном:

– А-а-ай!

Грудь (видна под белой рубашкой!) черна и вся меховая, до самого горла.

– Я как вас увидэл, так сразу влюбился!

Минут через десять Зураб приводит в дом остекленевшего от мороза, с нежнейшей бородкою ангела. На ангеле – белые тапочки, шарф, пиджак, свитерок. Все засыпано снегом.

– А где же пальто?

– Я привык, мне тепло!

Зураб обнимает стеклянного друга:

– Какое тэпло? Ты савсэм идиёт! Тэбэ нада водки, а то ты па-а-дохнешь!

– Садитесь, садитесь!

Часы бьют двенадцать. Успели! Ура!

*...сейчас закрываю глаза и смотрю. Вот елка, вот люди. Гирлянды, огни. И все молодые, и мне восемнадцать. А снег за окном все плывет, как река, как пена молочная: с неба на землю.*

Помню, что разговор с самого начала был очень горячим, потому что в комнате соединились трое молодых мужчин и две женщины, которых накрыло волнением, как морем. Помню, что Гия громко, через весь стол, спрашивал у Зураба, сверкая на меня глазами:

– Ты можэш так здэлать, шытобы ана уезжала са-а мной в Тбылиси? Ты друг или кто ты?

Зураб отвечал по-грузински, закусывая полную, капризную нижнюю губу, привыкшую с детства к липучей чурчхеле. Потом очень сильно тошнило Тамар, и ей наливали горячего чаю. Потом танцевали, дышали смолой бенгальских огней вперемешку с еловой.

А утром согревшийся ангел раскрыл рюкзачок и вытащил груды страниц и тетрадей. Синявский, Буковский, «Воронежский цикл», «Стихи из романа Живаго», Флоренский...



– Я выйду на площадь! И самосожгусь! – сказал грустный ангел. Мы все присмирели. – Для честных людей есть один только выход.

Я в ужасе представила себе, как он, в простых белых тапках, с куском «оливье», застрявшим в его золотистой бороде, худой, одинокий, из нашего теплого дома пойдет сквозь снег и мороз прямо к Лобному месту, а там... Мы будем здесь есть мандарины, а он сверкнет, как бенгальский огонь, и погибнет.

Никто с ним не спорил, но стали кричать, что лучше уехать, что это умнее.

– Куда ты уедешь? На чом ты уэдэш? – спрашивал Зураб, прихватив Гию за грудки.

А Гия, расстегнувший ворот нейлоновой рубашки, выкативший красные глаза и кашляющий от собственной шерсти, забившей широкое горло, кричал:

– Алэнэй любыл? Алэнатыну кушал?

– Зачэм мнэ алэни?

– Затем, – вдруг спокойно сказала Тамара, – что можно уйти вместе с северным стадом. Вода замерзает, олениводы перегоняют стада в Америку. Или в Канаду. Я точно не знаю. Но многие так уходили. Под брюхом оленя. И их не поймали.

Я увидела над собой черное небо, увидела стадо голодных оленей с гордыми величавыми головами и покорными, как у всех голодных животных, влажными глазами в заиндеветых ресницах, увидела равнодушного эскимоса в его многослойных сверкающих шкурах (из тех же оленей, но только убитых), почуяла дикий неистовый холод, сковавший всю жизнь и внутри, и снаружи. И там – под оленьим, скрипящим от снега, худым животом – я увидела ангела. Вернее сказать: новогоднего гостя, но с мертвыми и восковыми ушами...

Тогда, в первые минуты этого робкого раннего утра, я не знала и догадаться не могла, что через несколько лет полного, избалованного Зураба посадят в тюрьму за скупку вынесенного со склада дерматина, которым он обивал двери соседских квартир (чтоб в доме всегда были фрукты, чурчхела, телятина с рынка!), Тамара, родившая девочку Эку с глазами Зураба и носом Зураба, сейчас же оформит развод и уедет, а Гия, вернувшись в свой теплый Тбилиси, исчезнет совсем, навсегда, *безвозвратно*, как могут исчезнуть одни только люди...

В восемь часов мои гости ушли, а весь самиздат почему-то остался. И отец, вернувшись с празднования Нового года, увидел все эти листочки: Синявский, Буковский, стихи из романа...

– Кто здесь был? – тихо спросил он, блея всем лицом и пугая меня этой бледностью гораздо больше, чем если бы он закричал. – Что тут было?

Я забормотала, что люди – хорошие, очень хорошие...

– Что ты собираешься делать с *этим*? – И он побелел еще больше.

– Не знаю...

Я правда не знала.

– Ты *этого* – слышишь? – не видела! *Этого* не было.

– Но мне это дали на время, мне нужно вернуть...

– Ты *этого* видеть не видела, я повторяю!

И бабуля, только что приехавшая от подруги, с которой до двух часов ночи смотрела по телевизору новогодний «Огонек» и очень смеялась на шутки Аркадия Райкина, стояла в дверях и беззвучно шептала:

– Не смей спорить с папой!

Тогда я, рыдая, ушла в свою комнату, легла на кровать и заснула. Проснувшись, увидела солнце, сосульки, детей в пестрых шубках, ворон, горьких пьяниц, бредущих к ларьку с независимым видом... Увидела всю эту дорогую моему сердцу московскую зимнюю жизнь, частью которой была сама, обрадовалась ее ослепительной белизне, своим – еще долгим – веселым каникулам, своей все тогда освещающей юности...

А в самом конце той же самой зимы в Большом зале консерватории состоялся концерт Давида Ойстраха и Святослава Рихтера. Два гения вместе и одновременно. Не знаю, каким же я все-таки чудом достала билеты. А может быть, меня пригласил тот молодой человек, лица которого я почти не помню, но помню, что он был в костюме и галстук. Концерта я тоже не помню, поскольку мне было и не до концертов, а только до личной и собственной жизни, которая настолько переполняла и радовала меня, что, даже случись тогда Ойстраху с Рихтером вдруг слабым дуэтом запеть под гармошку, я не удивилась бы этому тоже. Но в антракте, когда цепко осмотревшая друг друга московская публика выплыла в фойе, усыпала бархатные красные диванчики и зашмыгала заложенными зимними носами, я вдруг увидела, как по лестнице стрелой промчался тот самый Валентин Никитин, который не ушел, стало быть, под брюхом оленя, не сжег себя рядом с Кремлевской стеною, но – весь молодой и горячий, в своих потемневших и стоптанных тапочках, в своем пиджачке, в своем узеньком шарфе, – промчался, влетел прямо в двери партера, а дальше была суета, чьи-то визги...

Во втором отделении нарядные ряды партера начали испытывать сдержанное волнение, оглядываться друг на друга, поправлять прически, покашливать, как будто бы где-то над их головами летают особенно жадные пчелы. Мой молодой человек с его незапомнившимся лицом, но в чистом костюме и галстук, сидел очень прямо, ловил звуки скрипки и, кажется, тоже чего-то боялся.

Объяснилось довольно просто: на этом концерте был сам Солженицын с женою и тещей. И многие знали об этом событии. В антракте же вышел нелепейший казус: студент из Тбилиси, без верхней одежды, ворвался, как вихрь, и, всех опрокинув, упал на колени, зажал Солженицыну снизу все ноги и стал целовать ему правую руку. Великий писатель стоял неподвижно, руки не отдернул и сам был в волнении. Пока не сбежались туда контролерши, пока не позвали двух-трех участковых и не сообщили куда-то повыше, никто и не знал, что положено делать. Конечно же, в зале был кто-то из «ихних»: какой-нибудь, скажем, француз или турок, какой-нибудь из Би-би-си и «Свободы», и все сразу выплыло из-под контроля, наполнило шумом все станции мира, наполнило все провода диким свистом, и тут уж, хоть бей о Кремлевскую стену крутым своим лбом, – ничего не исправишь!

Потом рассказали мне, что Никитина вывели под руки двое милиционеров, и он хохотал, издевался над ними, а милиционеры, мальчишки безусые из Подмосковья, не позволили себе ни одного слова, пока волоком тащили его к машине, и он загребал двумя тапками снег (и было почти как под брюхом оленя!), но, уже открыв дверцу и заталкивая хулигана в кабину, один из милиционеров, не выдержав, врезал ему прямо в ухо, и сильно шла кровь, и он так и уехал, вернее сказать: увезли по морозцу.

2010

## Зима разлуки нашей

В семь часов в Линнской синагоге начался вечер русского романса. За окном – набережная, синий кусок океана. Чайки на гладком песке, запах гниющих водорослей. Мальчик с густой гривой выводит ломающимся басом: «Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, мать уехала в Париж...»

Подожди, голубчик. Когда уехала?

\* \* \*

Вчера они сидели в его пропахшем табаком кожаном кабинете, за окном которого бушевал, ломая сиреневые ветки, июньский дождь.

...Они сидели в пропахшем табаком кожаном кабинете, и дрожащее полное лицо его было блее бумаги на столе.

– Я прошу одного, – громко сказал он, – чтобы была сохранена видимость наших семейных отношений...

– Отпусти меня, – прошептала она, – отпусти меня на месяц. Николка...

– Николка! – закричал он. – Николка! Николка будет здесь с Зиной и Олей! Как только бог смотрит на тебя оттуда?!

В Париже было тепло и солнечно. Покрывало на кровати пахло лавандовым мылом. Первый раз в жизни она проснулась рядом с человеком, который вот уже несколько месяцев был для нее всем на свете.

\* \* \*

– Вот ты посмотри, Аня. Это она перед самым выпуском. Ух, коса-то какая! Красавица.

– Где она умерла?

– Как где? В Москве, у Коли на руках. Перед самой войной она уехала с этим. Не сбегала, нет. Коля сам сказал: «Уезжай. Уезжай, куда хочешь, и думай. Потом возвращайся, потому что у тебя ребенок, а ребенку нужна мать».

– С ума сошел! Кто же так поступает?

– Теперь – никто, а раньше поступали. Он был великий человек, Аня. Коля – был великий человек. Двое было великих: мой Костя и Лидин Коля. Ну про моего ты знаешь...

\* \* \*

Она все еще была в Париже, хотя ее давно ждали в двух городах: Москве и Тамбове. В Тамбове тем временем выпал снег, и по сухому первому снегу к угловому дому на Большой Дворянской подкатил краснощекий извозчик.

– Лиза! Беги смотреть! Асеев приехал! Адвокат Асеев! Тот, с которым мы летом у Головкиных в карты играли! Он у нас практику открыл! Лиза!

Подошла к окошку, вскинула плечи. В косе – черный бант. Коса – тонкая, так себе. Вот у Лиды – волосы! Господи, Лида-то в Париже. Вчера мама с папой опять о ней говорили, мама все время плачет. Папа ездил в Москву, к Николаю Васильевичу и маленькому Николке. Привез фотографию – Николка на белом пони. Глазки грустные. Сумасшедшая Лида.

Так это и есть Асеев? Расплачивается с извозчиком. Без шапки, голова от снега – как припудренная. Подхватил свой сак – и прыг на крыльцо! Что это он так распрыгался?

Назавтра в гимназии была рассеянна. Толстая Надя Субботина протянула ей бархатный альбомчик. Выпускной класс, стишки на память. Субботина летом замуж выходит. За кузена. В Синоде разрешение выпрашивали. Дура Надька. Няня говорит: «Выйдет и будет рожать, как кошка».

Нет, мы с Мусей и Лялей, как только закончим, сразу – в Москву. На французские курсы. Там Шаляпин, Северянин. Во МХАТе – «Три сестры». Лида в письмах мне все рассказывает. Никому и в голову не придет, что я из Тамбова. В Асееве, кстати, ничего особенного. Муся говорит, что кутила ужасный. К цыганкам ездит. Папа признался, что тоже ездил, когда молодым был. Ужас. Муся клялась, что у Асеева цыганка в любовницах. Ну и ну. «Живой труп», графа Толстого сочинение.

Открыла альбомчик. Вдоль и поперек исписан. Вот, пожалуйста.

Лишь сойдет к нам на землю вечерочек,  
Буду ждать, не дрогнет ли звонок.  
Приходи, ненаглядный дружок,  
Приходи посидеть на часок.

Перевернула страницу, чтобы не мараться о глупости, и написала крупно:

Душа моя во всем гнезду сродни,  
В ней быются птицы и поют они.  
А улетит последняя и – вот:  
Она, как дом с открытыми дверьми,  
В которые осенний небосвод  
Шлет первый снег, и рвется лист с земли.

Ах как прекрасно. Прекрасные стихи. Алеша написал и преподнес летом. Гостил в июле на даче. Сашин друг. Вечером преподнес, когда мама заставила гаммы играть. Вошел в гостиную, волосы на пробор, блестят. Муся уверяет, он их чем-то мажет, чтобы блестели. Может быть, и нет. Просто такие волосы.

Откашлялся:

– Я не прошу вашей руки, Лизавета Антоновна, потому что вы слишком молоды. Но разрешите мне надеяться. Я буду ждать.

Взял ее за локоть и вдруг поцеловал в щеку. У нее в глазах потемнело. Маме, конечно, все рассказала. Мама сначала засмеялась, потом заплакала. Но плачет она всегда об одном: Лида.

Асеев вышел из своего дома как раз тогда, когда она к своему – подошла. Улица была пуста. Редкий сухой снежок. Он взглянул на нее рассеяннo. Улыбнулся и поклонился, надевая перчатки. Кому улыбнулся-то? Мне или двери? Постояла, сбросив ранец на землю, посмотрела вслед. Глупо. Взрослая барышня, скоро курсистка. Он припустился по улице быстро, почти бегом. Извозчика не взял. Снег налетел на его спину.

\* \* \*

Лида вернулась в Москву в июле, перед самой войной. По темно-зеленой с большими золотыми буквами вывеске: «Доктор Н. В. Филицын. Нервные болезни» – бежали мутные дождевые потоки. Николай Васильевич открыл дверь, провожая сгорбившегося пациента.

Посторонился, пропуская ее в глубину прихожей. Она отразилась в зеркале – бледная, как смерть, в затейливой парижской шляпке.

– Вернулась? – сказал он, и ей послышалась ненависть.

– Где Николка? – хрипло спросила она.

Он молчал и исподлобья, красными, бегающими глазами осматривал ее похудевшее лицо, серое дорожное платье на пуговицах, зонтик, блестящий от дождя.

– Николка где? – повторила она, замирая.

– Не беспокойся, – ответил он высоким звонким голосом. – Его забрала Оля. Завтра привезет. Должны же мы с тобой объясниться.

– Коля, – сказала она и опустила на стул, – я не могу говорить...

– Вот и прекрасно, – он усмехнулся дрожащими губами, – вот и хорошо, потому что и я не могу говорить. Да и незачем. Я предлагаю тебе жить здесь, дома, потому что все остальное – гадость и чушь. Ты не первая женщина, у которой завелся, – он с отвращением сморщил все лицо, – завелся адюльтер, и не последняя. Но ты – мать нашего ребенка. А наш ребенок, представляется мне, важнее адюльтеров. Так что я свой выбор сделал. Места в доме достаточно. Николка ничего не заметит. А когда ты решишь покинуть нас, – он быстро, вопросительно посмотрел на нее, она вздрогнула всем телом, – если ты решишь покинуть нас, мы вместе подумаем, какие принять меры.

– Как странно, Коля. – Она опустила голову, мокрая темно-золотая прядь упала на лоб из-под шляпки. – Как ты легко говоришь об этом...

– Легко? – переспросил он. – Ну, дорогая моя! Сколько раз я представлял себе, как задущу тебя, едва ты переступишь порог!

Она вскочила, словно ее ударило током.

– Сиди! – вскрикнул он и обеими руками нажал на ее плечи. – Сиди, ничего я тебе не сделаю! Нашла Алеко! Он для меня – все, – и кивнул головой в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. – Николка для меня – все! Не позволю я, чтобы глупая баба сломала ему жизнь, слышишь ты! Не позволю!

Он стоял над нею, дрожа всем телом, – огромный, седой, взъерошенный, – и вдруг она вспомнила, как он когда-то, так же дрожа всем телом, просил ее руки.

– Лучше я уеду, – прошептала она, – мы не сможем, мы не выдержим...

Он вдруг отошел к двери, прижался к ней спиной, засунул руки в карманы.

– Полно тебе, Лида, – произнес он почти спокойно, – иди к себе, отдохни. Ты неважно выглядишь. Завтра Оля привезет Николку.

\* \* \*

...Низкое красное солнце ломким веером накрыло Большую Дворянскую. К дому напротив подкатила пролетка. Из нее козочкой выпрыгнула соседская девочка, которая вот уже три месяца за ним подсматривает. Следом, придерживая подол платья, сошла молодая женщина в синей шляпе и сине-сером полосатом платье. За женщиной – худенький мальчик в русских локонах. Все они на секунду остановились перед дверью, и девочка нетерпеливо дернула звонок. Женщина в полосатом платье схватилась за сердце. Дверь отворилась, мелькнули два лица – Александры Ильиничны и Антона Сергеевича, соседей, – и дверь торопливо захлопнулась. Он догадался, что приехала старшая дочь Лида, недавно, как говорили, вернувшаяся из Парижа. Движение ее руки, схватившейся за сердце, поразило его.

«Кто знает, – вяло подумал он, – может быть, что-то еще осталось в этой жизни... Боль, привязанность... Наверное, осталось».

Он открыл буфет и налил себе стакан вина. Сопьюсь в этой дыре от скуки. Нет, не сопьюсь. Что делать вечером? Поехать к Тане? Его обожгло и тут же передернуло. Таня... Страсть, да. Тяжелая страсть к женскому телу, в которое погружаешься, все забыв. Потом наступает отрезвление. Она любит деньги, Танюша. Деньги и подарки. С ума сходит от побрякушек, которые он ей дарит. Довольно гадко. Но шея, спина, лопатки с шелковистыми родин-

ками, вишневые соски, твердеющие под его ладонью... Ладно. Поживем – увидим. Сказать сестрам: женюсь-ка я, милые, на цыганке?

Он представил себе выражение лица старшей, Варвары, недавно похоронившей мужа и оставшейся с четырьмя детьми. Нельзя делать такие вещи. Детей надо поднимать, все на нем. У Вари нет денег. Он опять посмотрел на соседский дом. Там уже зажгли лампу, двигались тени. Плачут, наверное, ахают, спрашивают. Как она схватилась за сердце, эта, в полосатом платье...

Горничная повесила платье в шкаф, расстелила постель. На столе стояли розы, только что срезанные. Конечно, к ее приезду. Как хорошо дома. Господи. И какой ад там, в Москве. Николай Васильевич ведет себя с ней вежливо и сухо, как с посторонней.

\* \* \*

– Лида вам все рассказывала, тетя Лиза, делилась?

– Что могла, то рассказывала. У нас разница была все же довольно большая: девять лет. Я ей казалась ребенком. По-настоящему мы с ней в первый раз поговорили тогда, после Парижа, когда она приехала в Тамбов. Убежала из Москвы от Николая Васильевича на две недели. А ты знаешь? Мне вот что все время приходит в голову: поделом нам всем! Молодцы большевики! Ей-богу, уважаю!

– Что это вы вдруг, тетя Лиза?

– А то, – и она засмеялась нервным старым ртом. – А то. Какая была жизнь! Страсти, любовь! Слезы, букеты. А они пришли и говорят: «Идите вы с вашими страстями к такой-то матери! И букеты с собой прихватите!» Мы и пошли. Буржуи недобитые.

\* \* \*

– Лида!

Не отвечает. Сейчас разрыдается. Любят они рыдать: что Лида, что мама.

– Лидуша! Ну что ты, как неживая? Поговори со мной!

– О чем с тобой поговорить, дурочка?

– Ну, обо всем. – Быстро намотала на руку легкую прядь, смутилась. – Как ты жила там, в Париже, с этим?

– С этим? – повторила Лида. – Что ты говоришь, Лизка! Он мне дороже всего.

– Почему?

– Как почему? Люблю его, вот почему!

– А Николая Васильевича?

Лида отрицательно покачала головой.

– Как? – ахнула, прижала ладонь ко рту. – Как же ты венчалась?

– «Да как же ты венчалась, няня?» – слабо улыбнулась Лида. – Так и венчалась. Так, видно, бог велел.

– Мой Коля, – засмеявшись сквозь готовые слезы, подхватила Лиза, – «он старше был меня, мой свет, а было мне...». Сколько тебе было?

– Восемнадцать, – сказала Лида, – и я ничего, ничего не понимала. Как ты сейчас.

– Я? – С возмущением: – Ну уж нет! Я давным-давно все знаю. Только скажи мне: почему так бывает, что этого человека любишь, а того нет? Ведь все одинаковое – руки, ноги, глаза. А...

– Никто этого не знает, – перебила ее Лида, – никто тебе на этот вопрос ничего не скажет! Я, когда только встретила его, ну, его, понимаешь? – И покраснела до слез, посмотрела

умоляющими глазами. – Как только встретила, сразу поняла, что у меня никакой своей воли не осталось. Что он захочет, то я и сделаю.

– Господи помилуй! Да ведь ты же замужем, и потом Николка...

– И Николка, и замужем, и мама... А как он до меня дотронулся в самый первый раз, так я почувствовала...

– Что ты почувствовала? Как он до тебя дотронулся?

Лида закрыла руками пылающее лицо.

– Хватит, Лизетка, я и так тебе много наговорила. Давай спать. Ни одну ночь я не спала толком. Знаешь, с какого времени? С двадцать восьмого января!

Она хотела спросить, что это за день такой, но прикусила язык. Красавица она все-таки, Лидочка наша, красавица. В Тамбове таких днем с огнем не сыщешь, да и в Москве, наверное, не очень...

Поцеловались. Шмыгнула к себе, потушила свет, натянула одеяло на голову. «А как он до меня дотронулся...» Как же он дотронулся все-таки?

\* \* \*

Первая осень войны была дождливой, холодной. В обиходе появились забытые слова: медикаменты, транспорт, мобилизация, десертир, наступление. Госпитали уже были переполнены. Вдоль железных дорог, увозивших на смерть крепких кривоногих мужиков, запахло содранными с бабьих голов пропотевшими платками, слезами. Поговаривали, что французские курсы не сегодня завтра закроют, хотя внешне Москва все еще жила своей прежней, бестолково-пестрой жизнью. Саша, брат (на год старше Лиды и на десять лет – Лизы!), был по состоянию здоровья освобожден от армии и ехал в Тамбов к родителям. По дороге из Петербурга он завернул в Москву повидаться с сестрами. С ним приехал Алеша, поступивший в Тверское артиллерийское училище.

Поезд пришел с опозданием, и она успела продрогнуть в тоненьких башмачках, надетых совсем не по погоде, из одного кокетства. Они спрыгнули с подножки и, махая фуражками, бросились к ней. Саша еще больше побледнел и похудел. У Алеши лицо сияло так, что хотелось зажмуриться. Сморщившись от паровозного дыма, она подхватила край клетчатой юбки тем же самым движением, которым это делала Лида, и поплыла к ним навстречу.

– Лизка! – Саша притиснул ее к себе и закашлялся. – Большая какая! Charmant!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.